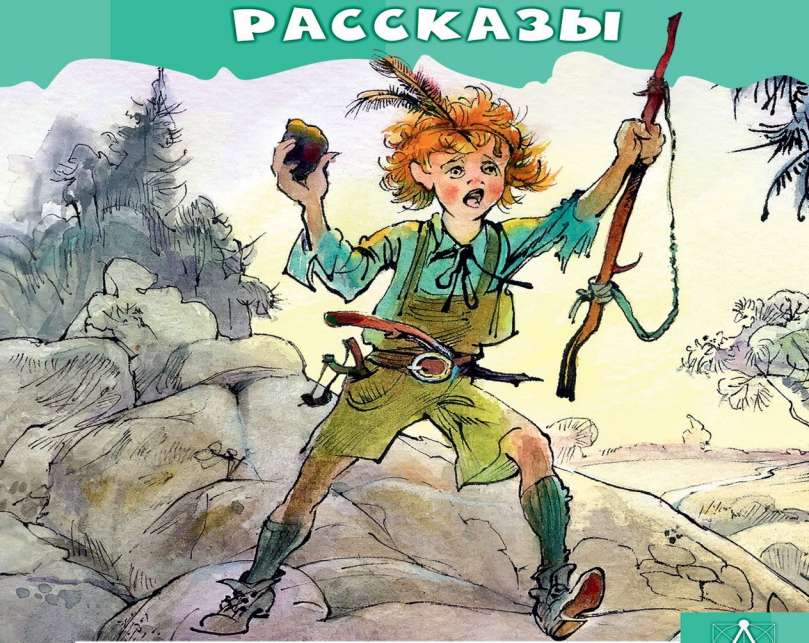


ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

О. Генри

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

РАССКАЗЫ



Произведения печатаются без сокращений

Вождь краснокожих. Рассказы О. Генри

Аннотация
О. Генри. Вождь краснокожих. Рассказы
Вождь краснокожих
Елка с сюрпризом
Рука, терзающая мир
Последний лист
Родственные души
Дороги, которые мы выбираем
Из любви к искусству
Квадратура круга
Один час полной жизни
Комедия любопытства
Улисс и собачник
В антракте
Золото и любовь

Аннотация

О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер) – американский писатель. Его не зря называют мастером короткого рассказа: в своих произведениях, зачастую пестрящих острым юмором, он емко умещает сюжет и совершенно неожиданную развязку. Герои его рассказов – люди из разных слоев общества: миллионеры, ковбои, спекулянты, бандиты, художники, прачки, золотоискатели. За всю свою жизнь О. Генри написал около шестисот произведений. В 1918 году была утверждена премия О. Генри за лучший рассказ.

Перевод с английского Н. Дарузес, Е. Калашниковой, Т. Озёрской.

Иллюстрации Ю. Богачева.

Для среднего школьного возраста.

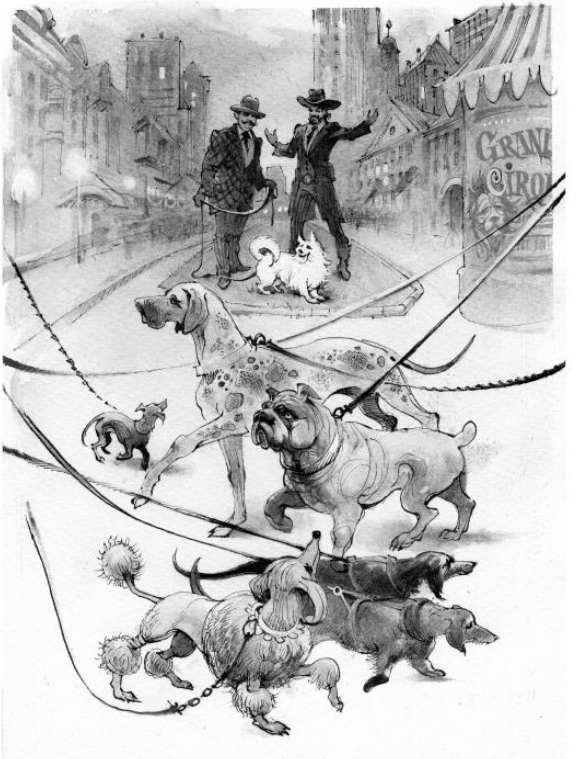
О. Генри
Вождь краснокожих. Рассказы

Серия «*Детское чтение*»

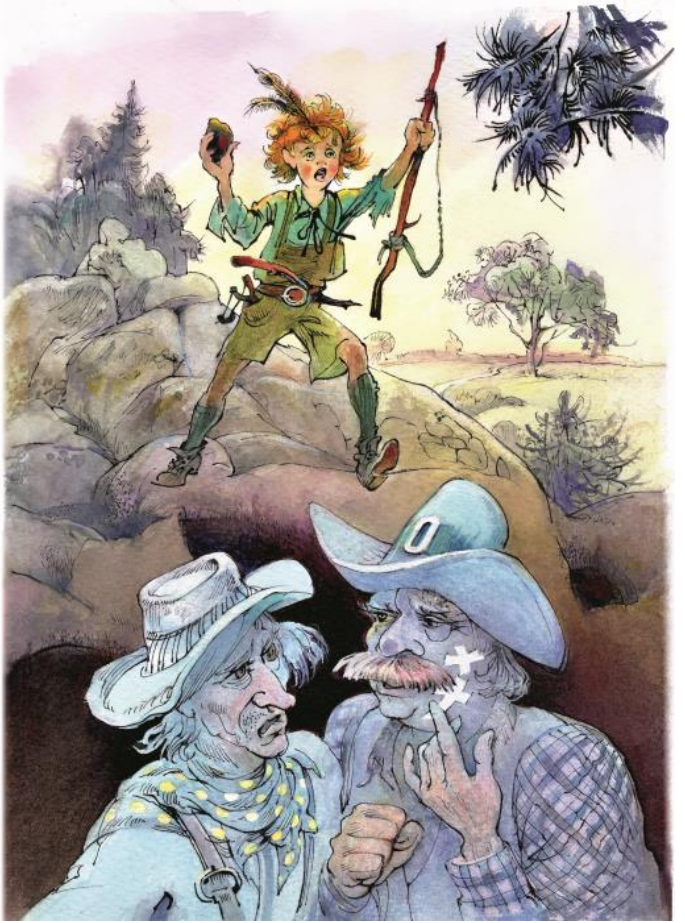


Художник *Юрий Богачев*

© Дарузес Н. Л., перевод с англ., насл., 2024
© Т. Озёрская, перевод с англ., насл., 2024
© Чуковский К. И., перевод с англ., насл., 2024
© Богачев Ю. Н., ил., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024


GRAN
CIRC

Вождь краснокожих



Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, «нашло временное помрачение ума», — только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолюбие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь

сентиментальных ищеек, да двух-трех обличительных заметок в «Еженедельном бюджете фермера». Как будто получалось недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет.

Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка две тысячи долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик! — говорил Билл. — Хочешь

получить пакетик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком.

Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозы равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины

в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, пленник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же лягаться этот мальчишка!

Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Змеиным Глазом и Соглядатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:

— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда Уокера. Не люблю

девчонок! Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяна и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, Змеиный Глаз?

— Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще поживем тут в пещере.

— Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело.

Мы легли спать часов в одиннадцать. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла,

посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе листьев, его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины, — нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, кото-

рый вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.

— Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю, — говорю я. — Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами.

— Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! — И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.

— Я тебе покажу! — говорит мальчишка Бил-

лу. — Еще ни один человек не ударил Вождя Краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся, — говорю я — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, ко-гда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее

снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головою в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:

— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?

— Ты погоди, — говорю я. — Мало-помалу придешь в чувство.

— Царь Ирод, — говорит он. — Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошутил, — сказал он, надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться. Змеиный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы

решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой.

Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку Поплар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Билом взяли бумагу и карандаш и стали

сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикую кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

«Эбенезеру Дорсету, эсквайру.

Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, — где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны

на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку.

Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

Два злодея».

Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер

Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик, — говорит Вождь Краснокожих, — и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь, — говорит разведчик. — Становись на четвереньки. А то как же я доскачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Девяносто миль, — отвечает разведчик. — И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонза-

ет пятки ему в бока.

— Ради Бога, — говорит Билл, — возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лягать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь

своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футах в восьми позади него.

— Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и самомнение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюймом меньше, — отвечает Билл. — Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге

он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках; два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что

Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.

Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я

вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

«Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением

Эбенезер Дорсет».

— Великие пираты! — говорю я. — Да ведь этакой наглости…

Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм, — говорит он, — что такое двести пять-

десят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы! Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше.

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили-наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги,

как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уж не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно, — говорит Билл. — В десять минут я пересеку центральные, южные и средне-западные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

Елка с сюрпризом



Чероки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и парусины. Чероки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чероки вывоpотил киркой самородок в тридцать унций весом. Чероки застолбил участок и тут же — как радушный хозяин и человек с размахом — разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу.

Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Рио-Пекос и с Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, из Санта-Фе и изо всех окрестных старательских лагерей.

Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение Желтой Киркой, избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чероки часовую цепочку из небольших самородков.

Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чероки иссякло. Он застолбил не жилу, а карман. Чероки бросил

участок и принялся столбить новые — один за другим. Но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чероки радостно улыбался и поздравлял их с успехом.

В Желтой Кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудачи. Старатели спросили Чероки, что они могут для него сделать.

— Для меня? — сказал Чероки. — Да что ж, небольшая ссуда пришлась бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастья в Марипозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете — я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей.

В мае Чероки навьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше, напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были силком рассованы по его карманам. Чероки просили не забывать, что в

Желтой Кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в Марипозе, чтобы погреть руки у его костра.

Чероки получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявления свидетельства о крещении не требовалось — каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью, а чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синие рубахи двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих не предусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя «Адамсами», или «Томпсонами», или еще как-нибудь в том же роде, бросая этим тень на свою репутацию. Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут

Честертон Л. К. Белмонт, и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде: «Коротыш», «Криволапый», «Техасец», «Лежебока Билл», «Роджер-Выпивоха», «Хромой Райли», «Судья» и «Эд-Калифорния». Чероки получил свое прозвище потому, что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени.

Двадцатого декабря Болди, почтальон, прискакал в Желтую Кирку с потрясающей новостью.

— Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке? — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. — Чероки. Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительной шипучки, и Чероки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами.

— Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу, — сказал Эд-Калифорния. — Вот порядочный малый! Я глубоко признателен Чероки за то, что ему, наконец, повезло.

— Не мешало бы Чероки притопать теперь в Желтую Кирку, проведать старых друзей, — заме-

тил кто-то с ноткой огорчения в голосе. — Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтоб отшибло память.

— Постойте, — возразил Болди, — я еще не все рассказал. Чероки застолбил трехфутовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз кати в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков, и красные сани, и... ну, угадайте, что еще он надумал?

— В карты режется, — высказал предположение Техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта.

— Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка! — пропел Коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке.

— Купил пивную, — решил Роджер-Выпивоха.

— Чероки повел меня к себе в комнату, — продолжал Болди, — и кое-что мне показал. У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми

этими бесполезными побрякушками? Нипочем не угадаете.

Ну так вот, Чероки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красные сани и... стойте, стойте, подождите заказывать виски!.. прискакать сюда, в Желтую Кирку, и закатить здешней детворе — ну да, да, здешней детворе! — такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей Говорящих Кукол и Больших Столярных Наборов для Маленьких Умных Мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку к западу от мыса Гаттераса!

После этих слов минуты на две воцарилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов; следом за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски.

— А ты сказал ему? — спросил старатель по кличке Тринидад.

— Да нет, — с запинкой отвечал Болди, — не сказал. Как-то к слову не пришлось. Ведь Чероки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей... И мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал.

— Признаться, я несколько изумлен, — молвил Судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. — Как мог наш друг Чероки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?

— Ну, то ли еще бывает на свете, — возразил Болди. — Чероки уехал отсюда семь месяцев назад. Мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается.

— Да ведь если рассудить, — заметил Эд-Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пеленками?

— А для пущего эффекта, — сказал Болди, — Чероки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня Лонгфелло, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего, пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадет зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают

об эдаком чуде!

— А когда Чероки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад.

— В сочельник утром, — сказал Болди. — И он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение, и поставили елку, и пригласили дам помочь наряжать ее. Но только таких, которые умеют держать язык за зубами, — чтоб полный был сюрприз для ребят.

Отмеченное собеседниками прискорбное состояние Желтой Кирки соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот резвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощеной улице между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом. Но в те дни Желтая Кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в Желтой Кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному

Чероки за тот ворох добра, который он туда вез.

Женщин в Желтой Кирке было всего пять. Из них три — жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, — составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спэнглер — мисс Фаншон и мисс Ирма — из «Передвижного драматического», который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки.

Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к Судье в гостиницу «Счастливая находка».

— Желтая Кирка опозорит себя навеки, — заявил Тринидад, — если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.

— Это начинание, — сказал Судья, — встретит

всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств… собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние… хотя, при сложившихся обстоятельствах… тем не менее я все-таки не вижу путей и средств…

— Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детворы… хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют.

— Эврика! — воскликнул Судья.

— Нет, врете! — решительно возразил Тринидад. — Это я нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе.

— Я буду вас сопровождать, — заявил Судья, размахивая тросточкой. — Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время напрокат для осуществления наших планов.

Через час Желтая Кирка была оповещена о плане Тринидада и Судьи и единодушно его

одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе сорока миль от Желтой Кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и возка.

Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в двадцати милях от Желтой Кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышащих здоровьем и снедаемых любопытством.

— Вот какое дело, — начал Тринидад. — Мы из Желтой Кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии. А у нас в Желтой Кирке самый младший из сорванцов обзавелся уже сорокапятикалиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «Ох!» и «Ах!», когда на елке зажгутся свечки? Словом, друг, если

вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой Робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну, как?

— Другими словами, — вмешался Судья, — мы, впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города, обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами…

— Понятно, — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. — Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комоде у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша

выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены.

Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ!

Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и Судья уже исчерпали больше половины своего списка — и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В возке не прибавилось ни одного седока.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Тринидад, — что получить ребенка напрокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины.

— Не подлежит никакому сомнению, — отозвался Судья, — что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность.

В канун праздника они покрыли тридцать миль, сделали четыре бесплодных остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота.

Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно не подлежащее изъятию сокровище, сказала:

— На Гранитной Стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами.

В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции Гранитная Стрелка. Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров.

На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти, с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворяли свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная заботами женщина в полном изнеможении сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты — той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда.

— Да я буду рада, если вы хоть ненадолго

заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут, как заведенная, с утра до ночи — некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки — вот разве что у вас…

Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками.

— А потом, мой юный друг, — добавил Судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменование того, как некогда волхвы…

— А, бросьте заливать! Я не ребенок, — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. — Нет никаких дедморозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки. И пачкаете каминными щипцами пол — будто Дед Мороз приехал на санях.

— Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. — Но елки-то ведь всамделишные. А у нас будет знаешь какая! Как универсальный магазин в Альбукерке — все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и ноев ковчег, и…

— К черту! — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтоб стрелять диких котов. Так у вас

небось не найдется ружья на вашей дурацкой елке?

— Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично, — но кто его знает… Поедем с нами, а там видно будет.

Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.

В Желтой Кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка, вся в свечках, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу — не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кульками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке, а открыть ему глаза на позорное состояние Желтой Кирки ни у кого

не хватило духу; к тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел.

Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками.

— Как только ребята соберутся, — наказывал он членам добровольного елочного комитета, — зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда… тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается мне, должно хватить.

Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спэнглер тоже были здесь: одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажей из новой пьесы «Невеста рудокопа». Спектакли в театре начинались только в девять часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался — не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь и пора было зажигать елку,

да и Чероки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского Деда.

Но вот на улице заскрипел возок, и «похитители» подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечки. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу.

Тринидад и Судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом исподлобья окинул пестро разряженную елку.

— А где же остальные дети? — вопросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города.

— Сударыня, — со вздохом отвечал Тринидад, — отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все триста шестьдесят четыре дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми

дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейные сборища. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности.

— Ах, прелестное дитя! — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены.

— Отвяжитесь! — хмуро буркнул Бобби. — Кто это — «дитя»? Уж не вы ли?

— Дерзкий мальчишка! — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевой улыбки.

— Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чероки, да что ж поделаешь.

Тут распахнулась дверь, и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо — видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес мешок.

Все замерли при его появлении. Даже сестры Спэнглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского Деда. Бобби, насупившись,

засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чероки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице.

— Поздравляю тебя с праздником, мальчуган, — сказал он. — Можешь брать с елки все, что тебе нравится, — мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом.

— Нет никаких дедморозов, — шмыгнув носом, проворчал Бобби. — У тебя фальшивая борода. Из старых козлиных оческов. Я не ребенок. На черта мне эти куклы и оловянные лошадки? Кучер сказал, что дадут ружье. А у тебя его нет. Я хочу домой.

Тринидад пришел на помощь. Он схватил руку Чероки и горячо ее потряс.

— Ты уж прости, Чероки, — сказал он. — Нет у нас в Желтой Кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суарэ, да вот, кроме этой сардинки, ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских дедов. Нам очень

совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с Судьей думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги и все твои свистульки пойдут в ход.

— Ну и ладно, — спокойно сказал Чероки. — Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить! Свалим все это барахло в старую шахту да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом — прямо из головы вон, что в Желтой Кирке нету ребятишек!

Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю.

Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чероки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом.

— Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он.

— На Гранитной Стрелке, — нехотя процедил Бобби.

В зале было жарко. Чероки снял свой колпак, парик и бороду.

— Эй! — несколько оживившись, произнес Бобби. — А ведь я тебя знаю.

— Разве мы с тобой встречались, малыш?

— Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто

раз.

— Где?

Бобби колебался.

— Дома. На комоде.

— Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?

— Роберт Лэмсден. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад.

Чероки встал и поманил к себе Тринидада.

— Посиди с мальчиком, я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой.

— Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чероки. — Ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем пресытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сластей и игрушек?

— Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой.

Чероки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чероки была его пятисотдолларовая шуба

из новорожденных котиков. Меховая полость приятно грела.

Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой.

— Брось папиросу! — сказал Чероки спокойно, но каким-то новым голосом.

После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег.

— Брось всю коробку, — приказал новый голос.

Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ.

— Эй! — сказал вдруг Бобби. — А ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать!

— Послушай, малыш, — сказал Чероки обыкновенным голосом. — А ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?

— Не вру. Сам видел.

— Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?

— Ну да. А что? Есть у тебя?

— Завтра получишь. С серебряными нашлепками.

Чероки поглядел на часы.

— Половина десятого. Что ж, мы с тобой доберемся до Гранитной Стрелки как раз к празднику, минута в минуту. Тебе не холодно? Садись по-

ближе, сынок.

Рука, терзающая мир

— Многие из наших великих людей, — сказал я (по поводу целого ряда явлений), — признавали, что своими успехами они обязаны участию и помощи какой-нибудь блистательной женщины.

— Да, — сказал Джефф Питерс. — Мне случилось читать и в истории и в мифологии о Жанне д'Арк, о мадам Иэл, о миссис Кодл[1], о Еве и других замечательных женщинах прошлого. Но женщины нашего времени, по-моему, почти бесполезны и в бизнесе и в политической жизни. Куда годится современная женщина? Ведь мужчины в настоящее время и лучше стряпают, и лучше стирают и гладят. Лучшие сиделки, слуги, парикмахеры, стенографы, клерки — все это мужчины. Единственное дело, в котором женщина превосходит мужчину, это Исполнение женских ролей в водевиле.

— А я думал, что женская чуткость и женская хитрость оказывали вам бесценные услуги в вашей… как бы это сказать? специальности…

— Да, — сказал Джефф и энергично кивнул

---

[1] Примечания: 1

Сварливая жена, персонаж американской юмористики.

головой, — так может показаться. А на поверку женщина — самый ненадежный товарищ во всяком благородном мошенничестве. Вдруг, ни с того ни с сего, когда вы больше всего на нее надеетесь, она становится честной и проваливает все дело. Однажды я испытал этих дамочек на собственной шкуре.

Билл Хамбл, мой старый приятель, с кот о рым я сдружился на Территории[2], вбил себе в голову, что ему хочется, чтобы правительство Соединенных Штатов назначило его шерифом. В ту пору мы с Энди занимались делом чистым и законным — продавали трости с набалдашниками. Если вам вздумается отвинтить набалдашник и приложить его к губам, вам прямо в рот потечет полпинты хорошего пшеничного виски, которое приятно прополощет вам горло в награду за вашу догадливость. Полиция изредка докучала нам, и, когда Билл сообщил мне, что хотел бы сделаться шерифом, я сразу смекнул, что в этой должности он был бы очень полезен торговому дому «Питерс и Таккер».

— Джефф, — говорит не Билл, — ты человек ученый, образованный, да к тому же обладаешь

---

[2] Примечания: 2

Так назывались области, еще не включенные официально в границы Соединенных Штатов, но находившиеся в зависимости от них.

всякими знаниями и сведениями касательно не одних только начальных основ, но также фактов и выводов.

— Правильно, — говорю я, — и в этом я никогда на раскаивался. Я не из тех, говорю, кто видит в образовании дешевый товар и ратует за бесплатное обучение. Скажи мне, — говорю я, — что имеет больше цены для человечества — литература или конские скачки?

— Э-э… гм… ну, разумеется, хорошие лошади… то есть я хотел сказать поэты и всякие там великие писатели, — те, конечно, идут впереди, — говорит Билл.

— Вот именно, — говорю я. — А если так, то почему же наши финансовые и гуманитарные гении берут с нас два доллара за вход на ипподром, а в библиотеки пускают бесплатно? Можно ли, — говорю я, — назвать это внедрением в массы правильного понятия об относительной ценности двух вышеупомянутых способов самообразования и разорения?

— Не угнаться мне за твоей риторикой и логикой, — говорит Билл. — Мне от тебя нужно одно: чтобы ты съездил в Вашингтон и выхлопотал мне место шерифа. У меня, понимаешь ли, нет способностей к интригам и высокому тону. Я

— простой обыватель и хочу получить это место. Вот и все. Я убил на войне семерых, а детей у меня девять душ. Я член республиканской партии с первого мая. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу никаких оснований, почему я не гожусь для этой должности. Мне сдается, что и твой компаньон, мистер Таккер, тоже человек мозговитый и может оказать тебе содействие. Я выдам вам авансом тысячу долларов на выпивку, взятки и трамвайные билеты в Вашингтоне. Если вы устроите мне это дело, я дам вам еще тысячу наличными, кроме того — у вас будет возможность целый год безнаказанно продавать наши контрабандные спиртуозные трости. Надеюсь, что ты добрый патриот и поможешь мне провести это дело через Белый Вигвам Великого Отца на самой восточной станции Пенсильванской железной дороги.[4]

Рассказал я про это дело Энди, и оно ему страшно понравилось. Энди был сложная натура. Ему было мало шататься по деревням и продавать доверчивым фермерам комбинацию из валька для отбивания бифштексов, рожка для ботинок, щип-

---

[4] Примечания: 3

Великий Отец — на языке Билла — президент республики; Белый Вигвам — Белый дом, где живет президент, самая восточная станция Пенсильванской железной дороги — Вашингтон, столица США.

цов для завивки, пилки для ногтей, машинки для растирания картофеля, коловорота и камертона. У Энди была душа художника, и ее нельзя было мерить чисто коммерческой меркой, как душу проповедника или учителя нравственности. Так что мы приняли предложение Билла, сели в поезд и помчались в Вашингтон.

Приехали мы, остановились в гостинице на Южно-Дакотской авеню, и я говорю Энди:

— Вот, Энди, первый раз в нашей жизни мы готовимся совершить истинно бесчестный поступок. Подкупать сенаторов нам еще никогда не случалось, но что делать, ради Билла придется пойти и на это. В делах благородных и честных можно допустить немного жульничества, но в этом грязном, отвратительном деле лучше всего — прямота. Здесь карты на стол, и никакого лукавства. Предлагаю тебе вот что: давай вручим пятьсот долларов председателю комитета избирательной кампании, получим квитанцию, положим квитанцию на стол президенту и расскажем ему про Билла. Я убежден, что президент сумеет оценить кандидата, который стремится получить должность таким прямолинейным путем, а не убивает все свое время на политические интриги.

Энди согласился со мной, но, обсудив эту идею с одним из служащих нашего отеля, мы отказались от нее. Служащий объяснил нам, что в Вашингтоне существует только один способ достать место: надо действовать через женщину, имеющую связи в сенате Он дал нам адрес одной такой дамы, к которой и рекомендовал обратиться; звали ее миссис Эвери; он утверждал, что она очень важная птица в дипломатических кругах и высших сферах.

На следующее утро мы с Энди явились в ее особняк и были введены в приемную.

Эта миссис Эвери была бальзам и утешение для глаз. Волосы у нее были такого же цвета, как оборотная сторона двадцатидолларовой золотой облигации, глаза голубые, и вообще вся система красоты была у нее такая, что девицы, которых изображают на обложках июльских журналов, рядом с ней показались бы кухарками с угольной баржи, плывущей по реке Мононгахеле.

Платье у нее было открытое, усыпанное серебряными блестками, в ушах висюльки, на пальцах брильянты. Руки были голые, одной рукой она говорила по телефону, а другой пила чай.

Прошло немного времени, она говорит:

— Ну, мои милые, что же вам надо?

Я в самых кратких словах объяснил ей, зачем мы пришли и сколько мы можем заплатить.

— Это дело нетрудное, — отвечает она. — На Западе легко назначать кого хочешь. Посмотрим, кто может нам пригодиться. С депутатами от Территории связываться нечего. По-моему, нам нужен сенатор Снайпер: он и сам оттуда, из Западных штатов. Посмотрим, каким знаком отмечен он в моем маленьком приватном меню.

Тут она вынимает какие-то бумаги из ящичка, обозначенного буквой С.

— Да, говорит, у меня он отмечен звездочкой; это значит: готов к услугам. Погодите, дайте взглянуть. «Пятидесяти пяти лет от роду; состоит во втором браке; вероисповедания пресвитерианского; любит блондинок, Льва Толстого, покер и черепашье жаркое; становится сентиментален после третьей бутылки». Да, да, я уверена, что мне удастся назначить вашего приятеля мистера Баммера посланником в Бразилию.

— Не Баммера, а Хамбла, — говорю я. — Шерифом Соединенных Штатов.

— Ах да, — говорит миссис Эвери. — У меня столько подобных дел, что иногда нетрудно перепутать. Дайте все меморандумы вашего дела, мистер Питерс, и приходите через четыре дня.

Думаю, что к тому времени все будет сделано.

Вернулись мы с Энди в гостиницу. Сидим и ждем. Энди шагает по комнате и жует конец своего левого уса.

— Женщина высокого ума и при этом красавица — очень редкое явление, Джефф, — говорит он.

— Такое же редкое, — говорю я, — как омлет, приготовленный из яиц той сказочной птицы, которую зовут Эпидермис.

— Такая женщина, — говорит Энди, — может обеспечить мужчине роскошную жизнь и славу.

— Едва ли, — возражаю я. — Самое большое, чем женщина может помочь мужчине получить должность, это быстро приготовить ему пищу или распустить слух о жене другого кандидата, будто та была в прежнее время магазинной воровкой. Вмешиваться в дела и политику, — говорю я, — женщинам идет так же, как Альджернону Чарльзу Суинберну[5] быть распорядителем на ежегодном балу союза швейников. Мне известно, — говорю я Энди, — что иногда женщина как будто и правда выступает на авансцену в качестве импрессарио политических затей своего мужа. Но чем это кончается? Предположим, жи-

---

[5] Примечания: 4
Английский поэт (1837-1909).

вет себе человек спокойно, у него хорошее место — либо иностранного консула в Афганистане, либо сторожа при шлюзе на канале Делавэр-Раритан. В один прекрасный день этот человек замечает, что его жена надевает калоши и кладет в клетку канарейке трехмесячный запас корма. «На курорт?» — спрашивает он, и в глазах у него загорается надежда. «Нет, Артур, — говорит она, — в Вашингтон. Мы здесь зря пропадаем. Ты бы должен быть Чрезвычайным Лизоблюдом при дворе Сент-Бриджет или Главным Портье острова Порто-Рико. Подожди, я выхлопочу тебе это место».

— И вот эта леди, — говорю я Энди, — вступает в единоборство со всеми вашингтонскими властями, имея в качестве оружия пять десятков писем, которые писал ей неразборчивым почерком один из членов кабинета, когда ей было пятнадцать лет; рекомендательное письмо от бельгийского короля Леопольда Смитсоновскому научному институту и шелковое розовое платье в крапинку канареечного цвета.

— И что же дальше? — продолжаю я. — Она помещает письма в вечерних газетах, таких же желто-розовых, как ее туалет, она читает лекции на званом обеде, устроенном в пальмовом са-

лоне вокзала железной дороги Балтимор-Огайо, а затем идет к президенту. Девятый помощник министра торговли и труда, первый адъютант Синей комнаты и некий цветной человек (личность установить не удалось) уже ждут ее, и когда она появляется, хватают ее за руки... и за ноги. Они выносят ее на Юго-западную улицу Б.[6] и кладут на люк угольного подвала. Тем и кончается. Следующее, что мы узнаем о ней, это, что она пишет открытки китайскому посланнику — просит его устроить Артуру местечко приказчика в чайном магазине.

— Значит, — говорит Энди, — ты не думаешь, что эта миссис Эвери достанет место шерифа для нашего Билла?

— Нет, не думаю, — отвечаю я. — Я не хочу быть скептиком, но мне кажется, что она может сделать не больше, чем ты или я.

— Ну, это ты врешь, — говорит Энди, — я готов побиться с тобой об заклад, что она устроит все как следует. С гордостью заявляю тебе, что у меня более высокое мнение о талантах и дипломатических способностях дам.

В назначенное время мы явились в особняк

---

[6] Примечания: 5

В Вашингтоне некоторые улицы называются буквами алфавита.

миссис Эвери. Внешность у нее была шикарная, такая внешность, что всякий мужчина, с радостью позволил бы ей ведать всеми назначениями в стране. Но я не слишком доверяю внешности и поэтому был весьма изумлен, когда она представила нам документ, украшенный большой печатью Соединенных Штатов, а на обороте написано прекрасным почерком крупными буквами: «Уильям Генри Хамбл».

— Вы могли получить эту бумагу еще три дня тому назад, мои миленькие, — сказала она улыбаясь, — Достать ее было очень легко, я только заикнулась, и все было моментально устроено… А теперь до свиданья. Я рада была бы поговорить с вами дольше, но я страшно занята и надеюсь, что вы простите меня. Одного я должна сегодня устроить послом, двоих — консулами, а еще человек десять на более мелкие должности. У меня нет времени даже для сна. Пожалуйста, по приезде домой кланяйтесь мистеру Хамблу.

Вручили мы ей пятьсот долларов. Она сунула их в ящик письменного стола не считая. Я положил в карман бумагу с назначением Билла, и мы откланялись.

Выехали мы домой в тот же день. Мы послали Биллу телеграмму: «Все устроено, готовь бока-

лы» — и чувствовали себя превосходно.

Энди всю дорогу пилил меня, что я так мало знаю женщин.

— Ладно, — говорю я. — Охотно признаю, что эта женщина меня удивила. Первый раз вижу женщину, которая выполнила то, что обещала, в назначенный срок и ничего не перепутала.

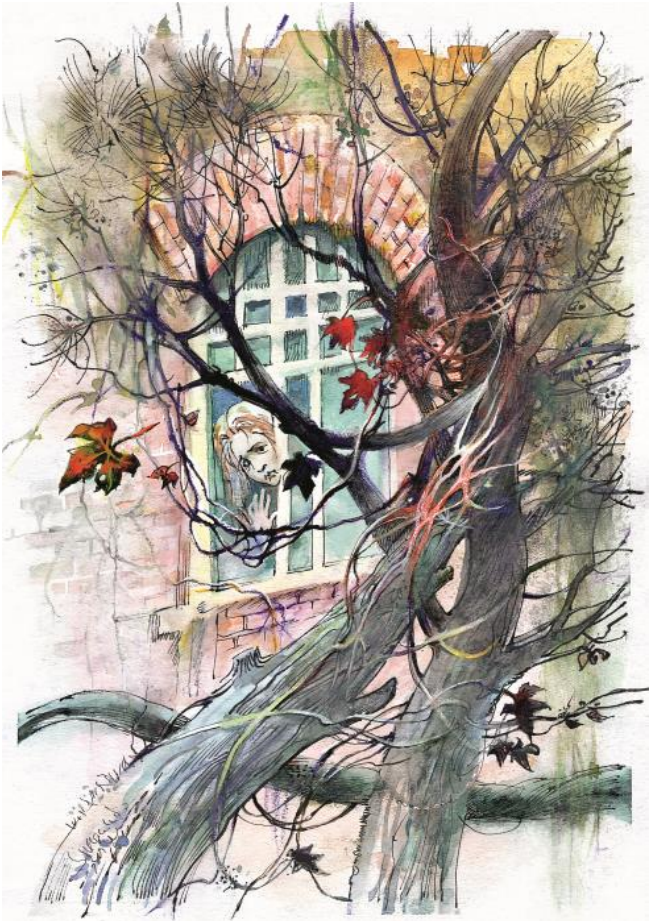
Подъезжая к Арканзасу, вынимаю я полученную нами бумагу, рассматриваю ее и молча подаю Энди — для прочтения. Энди прочел ее и не нарушил моего молчания ни словом.

В бумаге было все как следует, бумага была не фальшивая и выдана на имя Билла Хамбла, но назначали его почтмейстером в Дэд-Сити во Флориде.

На станции Литтл-Рок соскочили мы оба с поезда и послали Биллу его бумагу по почте. А сами двинулись на северо-восток, по направлению к Верхнему озеру.

С тех пор я уже никогда не встречал Билла Хамбла.

Последний лист



В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Ист-Сайду этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс… ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не по-

правиться. О чем она думает?

— Ей… ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит… Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с

лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь… позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной де-

вочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него зо-

лотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про

свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик… противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх.

Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да Бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь

усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а

потом молока с портвейном… Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:

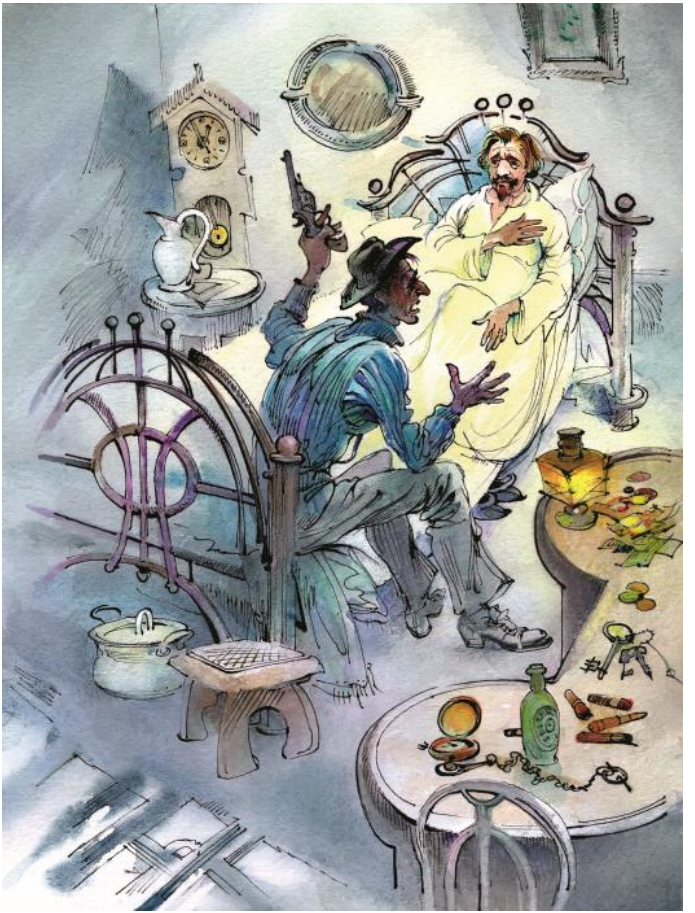
— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мыш-

ка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

Родственные души



Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона в свою очередь свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кабаре на крышах — тщета и суета, и, ощутив в себе тягу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил сигарету. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося, — его длинный

нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удается обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрал наручники из кармана полицейского Хэннесси и нахально избежал ареста.

Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Днем он либо завтракает в смокинге, либо расхаживает, переодевшись обойщиком, вечером же — приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в респектабельнейшем Оушен-Гроув, и когда его препровождают в тюремную камеру, он первым долгом требует себе пилочку для ногтей и «Полицейскую газету». У него есть жена в каждом штате

и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матримониальной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили исцеление от одного флакона патентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адовой Кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залететь слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый «улов». Путь его

лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех услад, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем Одиночества. Там и следовало «пощупать» на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадется немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем, словом, ничего сногсшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытать счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был привернут. На кровати спал человек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фишки, несколько сломанных сигар и розовый шелковый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не

говорят свистящим шепотом.

Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью бородка клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.

— Острый?

— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказила гримаса.

— Перестаньте корчить рожи, — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалете.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.

— И давно у вас? — поинтересовался обыватель.

— Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие — пиши пропало.

— А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.

— Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.

— Некоторые принимают «Пилюли Чизельма», — заметил обыватель.

— Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил «Экстракт Финкельхема», делал припарки

из «Галаадского бальзама» и применял «Поттовский болеутоляющий пульверизатор», вроде как немного полегчало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.

— Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?

— Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку… Не станете же вы… А «Бликерстафовский кровеочиститель» вы не пробовали?

— Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?

Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колено.

— Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.

— И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?

— По утрам. А уж перед дождем — просто мочи нет.

— Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тро-

нуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет слезливая мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопьется в плечо, что его начинает дергать, как зуб.

— Да, ничем не уймешь. Адовы муки, — сказал вор.

— Вы правы, — вздохнул обыватель.

Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.

— Послушайте, приятель, — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали оподельдок?

— Чушь! — сказал обыватель сердито. — С таким же успехом можно втирать коровье масло.

— Правильно, — согласился вор — Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина… вы на меня не серчайте… Это дело, само собой, побоку… Одевайтесь-ка, и пойдем выпьем. Вы уж простите, если я… ух ты, черт! Опять схватил, гадюка!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи, — сказал

обыватель. — Боюсь, что Томас уже лег, и…

— Ничего, вылезайте из своего логова, — сказал вор. — Я помогу вам нацепить что-нибудь.

Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно… — начал он.

— Вот ваша рубашка, — сказал вор. — Ныряйте в нее. Между прочим один человек говорил мне, что «Растирание Омберри» так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галстук.

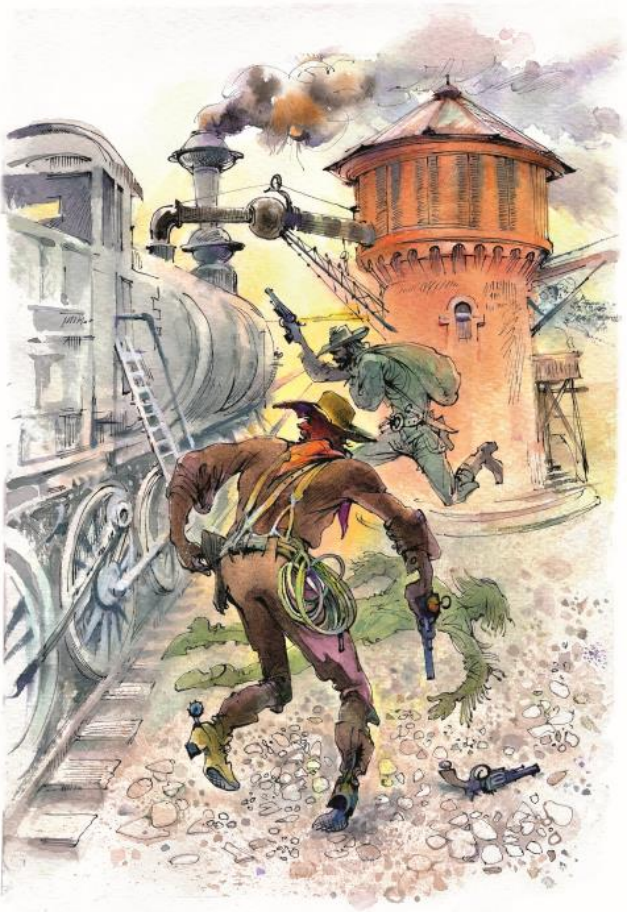
На пороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег, — сказал он. — Выложил их с вечера на туалетный стол.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошли, — сказал он грубовато. — Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали «Чудодейственный орех» и мазь из сосновых иголок?

Дороги, которые мы выбираем



В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, Акула Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на кучу угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они

застали врасплох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь

большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чапарраля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Проделав такой длинный и извилистый путь, они пока были в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и пово-

дя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих, — ответил жизнерадостный Боб. — Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано, — по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал, будет больше, — сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего заморенного коня. — Старик Боливар почти выдохся, — сказал он с расстановкой. — Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко, — простодушно ответил

Боб, — да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас довезет, куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки в подметки тебе не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк, — ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку. — Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое, — философски ответил Боб Тидбол. — Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб, — повторил он с чувством.

— И мне тоже, — согласился Боб, — хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокапятикалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки, — ухмыляясь, сказал Боб. — Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула. — Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон, — спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобою честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую пе-

чаль.

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле, Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы «Додсон и Деккер», Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном

глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди, — моргая, сказал Додсон. — Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Треси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр,

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр, — сказал Пибоди, волнуясь, — я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть… Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять, — ска-

зал Додсон. — Боливару не снести двоих.

Из любви к искусству

Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием — лишь немногим древнее, чем Великая китайская стена.

Джо Лэрреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя, в большой спешке проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лэрреби исполнилось двадцать лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк.

Дилия Кэрузер жила на Юге, в окруженном

соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепьянной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки «на Север» с целью «завершения музыкального образования». Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли, впрочем, об этом мы и поведем рассказ.

Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоях, Вальдтейфеле, Шопене и улуне.

Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу — как вам больше по вкусу — и, не теряя времени, вступили в брак, ибо (смотри выше), когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы.

Мистер и миссис Лэрреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепьянной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а Искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и

богат: продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше — отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и своим Искусством.

Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска — трюмо, письменный стол — комнату для гостей, а умывальник — пианино! И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, — не беда! Лишь бы вы со своей Дилией уместились между ними. Ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия, тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через Золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттерас, платье — на мыс Горн и выйти через Лабрадор!

Джо обучался живописи у самого великого Маэстри. Вы, без сомнения, слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока — вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепьянных клавиш.

Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда, но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны Музыки, затем пресытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду.

Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке: горячие, увлекательные беседы по возвращении с уроков; уютные обеды вдвоем и легкие, необременительные завтраки; обмен честолюбивыми мечтами — причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого; взаимная готовность помочь и ободрить, и — да простят мне непритязательность моих вкусов — бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну.

Однако дни шли, и высоко поднятое знамя

Искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и герра Розенштока. Но, когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами.

День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении.

— Джо, дорогой мой, я получила урок! — торжествующе объявила она. — И, знаешь, такие милые люди! Генерал… генерал А. Б. Пинкни с дочкой. У них свой дом на Семьдесят первой улице. Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль — так, кажется, ты это называешь. А комнаты! Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!

Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду, заниматься с ней три

раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с герром Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться и давай устроим хороший ужин.

— Тебе легко говорить, Дили, — возразил Джо, вооружась столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. — А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я — беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенуто Челлини! Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мостить улицы и приносить в дом доллар-другой.

Дилия подошла и повисла у него на шее.

— Джо, любимый мой, ну какой ты глупый! Ты не должен бросать живопись. Ты пойми — ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним... а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить, как миллионеры И думать не смей бросать мистера Маэстри.

— Ладно, — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме ракови-

ны. — Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не Искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы не тяжелы, — изрекла Дилия.

— Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке, — сообщил Джо. — А Тинкл разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они подадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами.

— Непременно купят, — нежно проворковала Дилия. — А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку.

Всю следующую неделю чета Лэрреби рано садилась завтракать Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями.

Искусство — требовательная возлюбленная. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера.

В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые

бумажки на маленький (восемь на десять дюймов) столик в маленькой (восемь на десять футов) гостиной.

— Клементина удручает меня порой, — сказала она чуть-чуть устало. — Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз. И эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни — вот чудесный старик! Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока — он ведь одинокий, вдовец — и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну, как шестнадцатые и тридцать вторые? — спрашивает он всегда. — Идут на лад?»

Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры! Клементина немножко покашливает. Надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней — она такая ласковая и кроткая и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии.

Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлек из кармана сначала десять долларов, потом пять, потом еще два и еще один — четыре самые что ни на есть настоящие банк-

ноты — и положил их рядом с заработком своей жены.

— Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пеории, — преподнес он ошеломляющее известие.

— Ты шутишь, Джо, — сказала Дилия. — Не может быть, чтобы из Пеории!

— Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину — маслом: вид на Лэкуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки! Ну ладно, ладно, они, конечно, не отделимы от Искусства.

— Я так рада, что ты занимаешься своим делом, — горячо сказала Дилия. — Тебя ждет успех, дорогой. Тридцать три доллара! Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин.

— И филе-миньон с шампиньонами, — добавил Джо. — А ты не знаешь, где вилка для маслин?

В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил восемнадцать долларов на

столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное — по-видимому, толстый слой масляной краски.

А через полчаса появилась и Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел.

— Что случилось, Дилия? — спросил Джо, целуя жену.

Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело.

— Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валлийски, — сказала она. — Вообще это девушка со странностями. В пять часов вечера — гренки по-валлийски!

Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой, можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем — она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас как больно было! Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни… ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то — кажется, истопника — в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уж не так больно.

— А это что у тебя тут? — спросил Джо, нежно приподымая ее забинтованную руку и осторожно

потягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта.

— Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь, — сказала Дилия. — Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд? — Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги.

— Продал ли я этюд! Спроси об этом нашего друга из Пеории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?

— Часов в пять, должно быть, — жалобно сказала Дилия. — Утюг… то есть сыр сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он…

— Поди-ка сюда, Дили, — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи.

— Чем это ты занималась последние две недели? — спросил он.

Дилия храбро посмотрела мужу в глаза — взглядом, исполненным любви и упрямства, — и забормотала что-то насчет генерала Пинкни… потом опустила голову, и правда вылилась наружу в бурном потоке слез.

— Я не могла найти уроков, — призналась Ди-

лия. — И не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную — знаешь, на Двадцать четвертой улице — гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это — насчет генерала Пинкни и Клементины, — как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пеории.

— Он, между прочим, не из Пеории, — с расстановкой проговорил Джо.

— Ну, это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста… нет, поцелуй меня сначала, скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?

— Я и не догадывался… до последней минуты, — сказал Джо. — И теперь бы не догадался, но сегодня я послал из котельной наверх, в прачечную, лигнин и мазь для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котел в этой прачечной.

— Так, значит, ты не…

— Мой покупатель из Пеории — так же, как и

твой генерал Пинкни, — всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой.

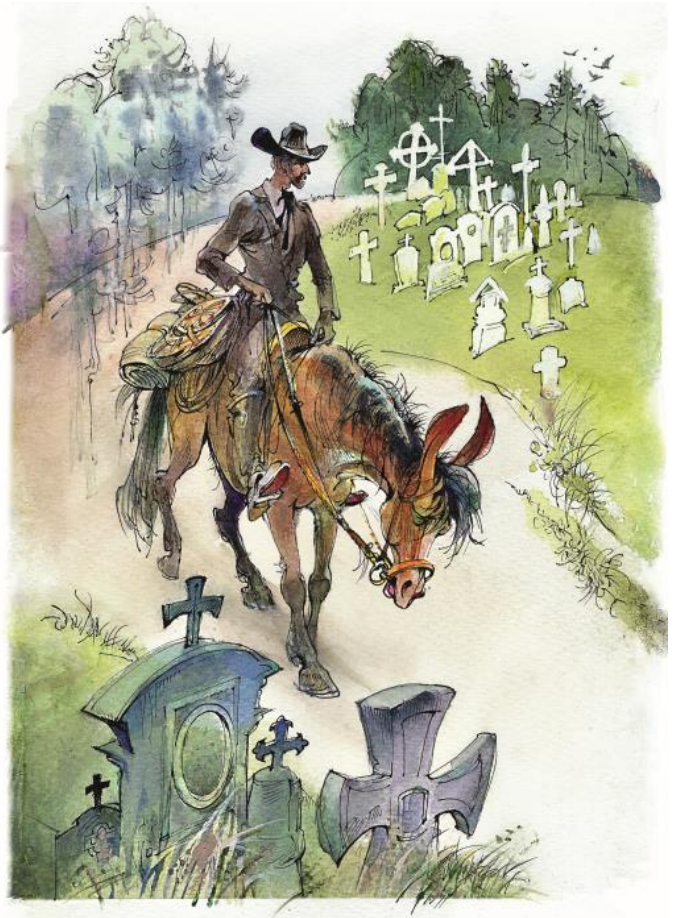
Оба рассмеялись, и Джо начал:

— Когда любишь Искусство, никакие жертвы…

Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.

— Нет, — сказала она. — Просто: когда любишь…

Квадратура круга



Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях вступление геометрического характера.

Природа движется по кругу. Искусство — по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, описывает круги; ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого.

Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности; прищуренные, суженные до прямой линии глаза кокетки свидетельствуют о вторжении Искусства. Прямая линия рта говорит о хитрости и лукавстве; и кто же не читал самых вдохновенных лирических излияний Природы на губах, округлившихся для невинного поцелуя?

Красота — это Природа, достигшая совершенства, округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в ссудную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от

Природы. Сравните только пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки.

Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, Природа, более гибкая, чем Искусство, приспособляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например: голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка.

Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие, жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем, даже в отдыхе и развлечениях, — все это бросает холодный вызов кривой линии Природы.

Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентуккийской вендетте, которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать

все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов.

Эта вендетта началась в Кэмберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнесс. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на опоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату, укокошив главу рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили.

Вендетта процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов, за плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа Фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны.

В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного дерева, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение

фамильной распри приняло бы уже чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Кэмберленда, игнорируя все права Сэма, последнего мстителя из рода Фолуэлов.

Через год после этого Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной ни считалась эта привычка в Кэмберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер, вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах, Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле мимо кедровой рощи к станции

железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэлов.

Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кебмен выхватил Сэма из гущи пассажиров, как он сам, бывало, выхватывал орех из вороха опавших листьев, и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу.

На следующее утро последний из Фолуэлов сделал вылазку в город, где скрывался последний из Гаркнессов. Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке; охотничий нож висел у него между лопаток, на полдюйма от воротника. Ему было известно одно — что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то в этом городе и что он, Сэм Фолуэл, должен его убить, — и как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью и сердце загорелось жаждою мести.

Шум и грохот центральных авеню завлекал его

все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице Кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь, как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами.

К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями.

Сэм Фолуэл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в границы. Корнем жизни был кубический корень, мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо, ужасный шум и грохот оглушили его.

Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему.

Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.

Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум.

— У Ранкинсов свиньи весили куда больше наших, да ведь в ихних местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас…

Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг.

Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять Искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки — она тщетно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за который можно было бы ухватиться.

Смущенный, красный, растерянный, он отошел

от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро.

— Проходи! — сказал полисмен. — Ты здесь давненько околачиваешься.

На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-за дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. Какая-то громадная машина, без лошадей, с голосом быка и запахом коптящей лампы, промчалась мимо, ободрав ему колени. Кеб задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер, яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке «шанжан» толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банановыми корками и приговаривал: «И не хочется, да нельзя упускать такой случай!»

Кол Гаркнесс, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы[7]. В толпе

---

[7] Примечания: 6

Небоскреб-утюг — здание, имеющее острый угол (*прим. ред.*).

спешащих прохожих, всего в трех шагах впереди себя, он увидел последнего кровного врага всех своих родных и близких.

Он остановился, как вкопанный, и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох без оружия. Но Сэм Фолуэл уже заметил его своими зоркими глазами горца.

Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул:

— Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть!

И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Кэмберленда пожали друг другу руки.

Один час полной жизни

Существует поговорка, что тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Справедливость такого суждения должна прельстить всякого любителя сокращенной философии. В этих трех условиях заключается все, что стоит знать о жизни. Поверхностный мыслитель, возможно, счел бы, что к этому списку следует прибавить еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру.

По-видимому, так распорядилась мудрая исполнительная власть, которая управляет жизнью, что человек неизбежно проходит через все эти три условия; и никто не может быть избавлен от всех трех.

В сельских местностях эти условия не имеют такого значения. Бедность гнетет меньше, любовь не так горяча, война сводится к дракам из-за соседской курицы или границы участка. Зато

в больших городах наш афоризм приобретает особую правдивость и силу, и некоему Джону Гопкинсу досталось в удел испытать все это на себе в сравнительно короткое время.

Квартира Гопкинса была такая же, как тысячи других. На одном окне стоял фикус, на другом сидел блохастый терьер, изнывая от скуки.

Джон Гопкинс был такой же, как тысячи других. За двадцать долларов в неделю он служил в девятиэтажном кирпичном здании, занимаясь не то страхованием жизни, не то подъемниками Бокля, а может быть, педикюром, ссудами, блоками, переделкой горжеток, изготовлением искусственных рук и ног или же обучением вальсу в пять уроков с гарантией. Не наше дело догадываться о призвании мистера Гопкинса, судя по этим внешним признакам.

Миссис Гопкинс была такая же, как тысячи других. Золотой зуб, наклонность к сидячей жизни, охота к перемене мест по воскресеньям, тяга в гастрономический магазин за домашними лакомствами, погоня за дешевкой на распродажах, чувство превосходства по отношению к жилице третьего этажа с настоящими страусовыми перьями на шляпке и двумя фамилиями на двери, тягучие часы, в течение которых она липла к

подоконнику, бдительное уклонение от визитов сборщика взносов за мебель, неутомимое внимание к акустическим эффектам мусоропровода — все эти свойства обитательницы нью-йоркского захолустья были ей не чужды.

Еще один миг, посвященный рассуждениям, — и рассказ двинется с места.

В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Кутни-Фоллс.

Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику — и вдруг на тебя нападают бандиты, «скорая помощь» везет тебя в больницу, ты женишься на сиделке, разводишься, перебиваешься кое-как с хлеба на квас, стоишь в очереди в ночлежку, женишься на богатой наследнице, отдаешь белье в стирку, платишь членские взносы в клуб — и все это в мгновение ока. Бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обедами — судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай. Город — жизнерадост-

ный малыш, а ты — красная краска, которую он слизывает со своей игрушки.

После уплотненного обеда Джон Гопкинс сидел в своей квартире строгого фасона, тесной, как перчатка. Он сидел на каменном диване и сытыми глазами разглядывал «Искусство на дом» в виде картинки «Буря», прикрепленной кнопками к стене. Миссис Гопкинс вялым голосом жаловалась на кухонный чад из соседней квартиры. Блохастый терьер человеконенавистнически покосился на Гопкинса и презрительно обнажил клыки.

Тут не было ни бедности, ни войны, ни любви; но и к такому бесплодному стволу можно привить эти три основы полной жизни.

Джон Гопкинс попытался вклеить изюминку разговора в пресное тесто существования.

— В конторе ставят новый лифт, — сказал он, отбрасывая личное местоимение, — а шеф начал отпускать бакенбарды.

— Да что ты говоришь! — отозвалась миссис Гопкинс.

— Мистер Уиплз пришел нынче в новом весеннем костюме. Мне очень даже нравится. Такой серый, в… — Он замолчал, вдруг почувствовав, что ему захотелось курить. — Я, пожалуй,

пройдусь до угла, куплю себе сигару за пять центов, — заключил он.

Джон Гопкинс взял шляпу и направился к выходу по затхлым коридорам и лестницам доходного дома.

Вечерний воздух был мягок, на улице звонко распевали дети, беззаботно прыгая в такт непонятным словам напева. Их родители сидели на порогах и крылечках, покуривая и болтая на досуге. Как это ни странно, пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам и раздували начинающийся пожар, вместо того чтобы потушить его в самом начале.

Табачную лавочку на углу, куда направлялся Джон Гопкинс, содержал некий торговец по фамилии Фрешмейер, который не ждал от жизни ничего хорошего и всю землю рассматривал как бесплодную пустыню. Гопкинс, незнакомый с хозяином, вошел и добродушно спросил «пучок шпината не дороже трамвайного билета». Эта неуместная просьба только усугубила пессимизм Фрешмейера; однако он предложил покупателю товар, довольно близко отвечавший требованию. Гопкинс откусил кончик сигары и закурил ее от газового рожка. Сунув руку в карман, чтобы заплатить за покупку, он не нашел там ни цента.

— Послушайте, дружище, — откровенно объяснил он. — Я вышел из дому без мелочи. Я вам заплачу в первый же раз, как буду проходить мимо.

Сердце Фрешмейера дрогнуло от радости. Этим подтверждалось его убеждение, что весь мир — сплошная мерзость, а человек есть ходячее зло. Не говоря худого слова, он обошел вокруг прилавка и с кулаками набросился на покупателя. Гопкинс был не такой человек, чтобы капитулировать перед впавшим в пессимизм лавочником. Он моментально поставил Фрешмейеру золотисто-лиловый синяк под глазом в уплату за удар, нанесенный сгоряча любителем наличных.

Стремительная атака неприятеля отбросила Гопкинса на тротуар. Там и разыгралось сражение: мирный индеец со своей деревянной улыбкой[8] был повержен в прах, и уличные любители побоищ столпились вокруг, созерцая этот рыцарский поединок.

Но тут появился неизбежный полисмен, что предвещало неприятности и обидчику, и его жертве. Джон Гопкинс был мирный обыватель и по вечерам сидел дома, решая ребусы, однако он

---

[8] Примечания: 7

Деревянная фигура индейца, которую ставили возле табачной лавки (*прим. ред.).*

был не лишен того духа сопротивления, который разгорается в пылу битвы. Он повалил полисмена прямо на выставленные бакалейщиком товары, а Фрешмейеру дал такую затрещину, что тот пожалел было, зачем он не завел обыкновения предоставлять хотя бы некоторым покупателям кредит до пяти центов. После чего Гопкинс бросился бегом по тротуару, а в погоню за ним — табачный торговец и полисмен, мундир которого наглядно доказывал, почему на вывеске бакалейщика было написано: «Яйца дешевле, чем где-либо в городе».

На бегу Гопкинс заметил, что по мостовой, держась наравне с ним, едет большой низкий гоночный автомобиль красного цвета. Автомобиль подъехал к тротуару, и человек за рулем сделал Гопкинсу знак садиться. Он вскочил на ходу и повалился на мягкое оранжевое сиденье рядом с шофером. Большая машина, фыркая все глуше, летела, как альбатрос, уже свернув с улицы на широкую авеню.

Шофер вел машину не говоря ни слова. Автомобильные очки и дьявольский наряд водителя маскировали его как нельзя лучше.

— Спасибо, друг, — благодарно обратился к нему Гопкинс. — Ты, должно быть, и сам честный

малый, тебе противно глядеть, когда двое нападают на одного. Еще немножко, и мне пришлось бы плохо.

Шофер и ухом не повел — будто не слышал. Гопкинс передернул плечами и стал жевать сигару, которую так и не выпускал из зубов в продолжение всей свалки.

Через десять минут автомобиль влетел в распахнутые настежь ворота изящного особняка и остановился. Шофер выскочил из машины и сказал:

— Идите скорей. Мадам объяснит все сама. Вам оказывают большую честь, мсье. Ах, если бы мадам поручила это Арману! Но нет, я всего-навсего шофер.

Оживленно жестикулируя, шофер провел Гопкинса в дом. Его впустили в небольшую, но роскошно убранную гостиную. Навстречу им поднялась дама, молодая и прелестная, как видение. Ее глаза горели гневом, что было ей весьма к лицу. Тоненькие, как ниточки, сильно изогнутые брови красиво хмурились.

— Мадам, — сказал шофер, низко кланяясь, — имею честь докладывать, что я был у мсье Лонга и не застал его дома. На обратном пути я увидел, что вот этот джентльмен, как это сказать, бьется

с неравными силами — на него напали пять… десять… тридцать человек, и жандармы тоже. Да, мадам, он, как это сказать, побил одного… три… восемь полисменов. Если мсье Лонга нет дома, сказал я себе, то этот джентльмен так же сможет оказать услугу мадам, и я привез его сюда.

— Очень хорошо, Арман, — сказала дама, — можете идти. — Она повернулась к Гопкинсу: — Я посылала шофера за моим кузеном, Уолтером Лонгом. В этом доме находится человек, который обращался со мной дурно и оскорбил меня. Я пожаловалась тете, а она смеется надо мной. Арман говорит, что вы храбры. В наше прозаическое время мало таких людей, которые были бы и храбры, и рыцарски благородны. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь?

Джон Гопкинс сунул окурок сигары в карман пиджака и, взглянув на это очаровательное существо, впервые в жизни ощутил романтическое волнение. Это была рыцарская любовь, вовсе не означавшая, что Джон Гопкинс изменил квартирке с блохастым терьером и своей подруге жизни. Он женился на ней после пикника, устроенного вторым отделением союза этикетчиц, поспорив со своим приятелем Билли Макманусом на новую шляпу и порцию рыбной солянки. А с этим незем-

ным созданием, которое молило его о помощи, не могло быть и речи о солянке; что же касается шляп, то лишь золотая корона с брильянтами была ее достойна!

— Слушайте, — сказал Джон Гопкинс, — вы мне только покажите этого парня, который действует вам на нервы. До сих пор я, правда, не интересовался драться, но нынче вечером никому не спущу.

— Он там, — сказала дама, указывая на закрытую дверь. — Идите. Вы уверены, что не боитесь?

— Я? — сказал Джон Гопкинс. — Дайте мне только розу из вашего букета, ладно?

Она дала ему красную-красную розу. Джон Гопкинс поцеловал ее, воткнул в жилетный карман, открыл дверь и вошел в комнату. Это была богатая библиотека, освещенная мягким, но сильным светом. В кресле сидел молодой человек, погруженный в чтение.

— Книжки о хорошем тоне — вот что вам нужно читать, — резко сказал Джон Гопкинс. — Подитека сюда, я вас проучу. Да как вы смеете грубить даме?

Молодой человек слегка изумился, после чего томно поднялся с места, ловко схватил Гопкинса за руки и, невзирая на сопротивление, повел к

выходу на улицу.

— Осторожнее, Ральф Бранскомб! — воскликнула дама, которая последовала за ними. — Обращайтесь осторожней с человеком, который доблестно пытался защитить меня.

Молодой человек тихонько вытолкнул Джона Гопкинса на улицу и запер за ним дверь.

— Бесс, — сказал он спокойно, — напрасно ты читаешь исторические романы. Каким образом попал сюда этот субъект?

— Его привез Арман, — сказала молодая дама. — По-моему, это такая низость с твоей стороны, что ты не позволил мне взять сенбернара. Вот потому я и послала Армана за Уолтером. Я так рассердилась на тебя.

— Будь благоразумна, Бесс, — сказал молодой человек, беря ее за руку. — Эта собака опасна. Она перекусала уже нескольких человек на псарне. Пойдем лучше скажем тете, что мы теперь в хорошем настроении.

И они ушли рука об руку.

Джон Гопкинс подошел к своему дому. На крыльце играла пятилетняя дочка истопника. Гопкинс дал ей красивую красную розу и поднялся к себе.

Миссис Гопкинс лениво завертывала волосы в

папильотки.

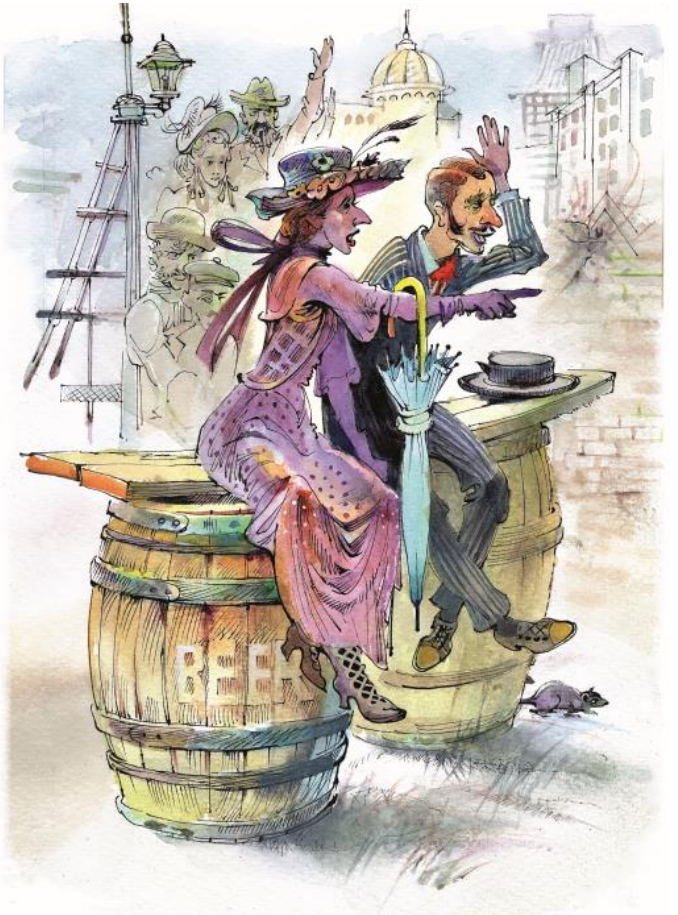
— Купил себе сигару? — спросила она равнодушно.

— Конечно, — сказал Гопкинс, — и еще прошелся немножко по улице. Вечер хороший.

Он уселся на каменный диван, достал из кармана окурок сигары, закурил его и стал рассматривать грациозные фигуры на картине «Буря», висевшей против него на стене.

— Я тебе говорил про костюм мистера Уиплза, — сказал он. — Такой серый, в мелкую, совсем незаметную клеточку, и сидит отлично.

Комедия любопытства



Можно избежать смертоносного дыхания анчара, что бы ни говорили любители метафор; можно, если очень повезет, подбить глаз василиску; можно даже увернуться от Цербера и Аргуса; но ни одному человеку, будь он живой или мертвый, невозможно уйти от любопытного взгляда зеваки.

Нью-Йорк — город зевак. Много в нем, конечно, и таких людей, которые идут своей дорогой, сколачивая капитал и не глядя ни направо, ни налево, но есть и целое племя, очень своеобразное, состоящее, наподобие марсиан, единственно из глаз и средств передвижения.

Эти фанатики любопытства, словно мухи, целым роем слетаются на место всякого необычайного происшествия и, затаив дыхание, проталкиваются как можно ближе. Открывает ли рабочий люк, попадает ли под трамвай житель северной окраины, роняет ли мальчишка яйцо на тротуар, возвращаясь домой из лавочки, теряет ли дама мелкую монету, выпавшую из дыры в перчатке, увозит ли полиция телефон и записи скаковых ставок из читальни Ибсеновского общества, провалятся ли в подземку один-два дома или сенатор Депью выйдет на прогулку — при всяком счастливом или несчастном случае пле-

мя зевак, теряя разум, неудержимо стремится к месту происшествия.

Важность события не играет роли. С одинаковым интересом и увлечением они глазеют и на опереточную певичку, и на человека, малюющего рекламу пилюль против печени. Они готовы обступить тесным кругом и колченогого инвалида и буксирующий автомобиль. Они страдают манией любопытства. Это зрительные обжоры, которые наслаждаются несчастьем ближнего, захлебываются им. Они смотрят, глядят, пялятся, таращатся мутными рыбьими глазами на приманку несчастья, словно пучеглазый окунь.

Казалось бы, эти одержимые любопытством являют собой совсем неподходящую дичь для пламенных стрел Купидона, однако даже среди простейших трудно найти совершенно невосприимчивую особь. Да, прекрасная богиня романтики осенила своим крылом двух представителей племени зевак, и любовь проникла в их сердца, когда они стояли над распростертым телом человека, которого переехал фургон с пивом.

Уильям Прай первым прибыл на место. Он был знатоком по части таких зрелищ. Весь сияя от радости, он стоял над жертвой несчастного случая и внимал ее стонам, словно нежнейшей

музыке. Толпа зевак плотно сгрудилась вокруг жертвы, и Уильям Прай заметил сильное движение в этой толпе как раз против того места, где он стоял. Какое-то стремительно несущееся тело рассекало толпу, словно смерч, отшвыривая людей в стороны. Орудуя локтями, зонтиком, шляпной булавкой, языком и ногтями, Вайолет Сеймур прокладывала себе дорогу в первый ряд зрителей. Силачи, которые без труда садились на гарлемский поезд в 5.30, отлетали, как слабые дети, столкнувшись с ней на пути к центру. Две солидные дамы, своими глазами видевшие свадьбу герцога Роксборо и не раз останавливавшие все движение на Двадцать третьей улице, после встречи с Вайолет отступили во второй ряд, оправляя порванные блузки. Уильям Прай полюбил ее с первого взгляда.

Карета «Скорой помощи» увезла бессознательного пособника Купидона. Уильям и Вайолет остались и после того, как толпа разошлась. Это были настоящие зеваки. Люди, которые покидают место происшествия вместе с каретой скорой помощи, лишены тех необходимых элементов, из которых состоит истинное любопытство. Тонкий букет события, его настоящий вкус можно распознать только напоследок — пожирая глазами

место происшествия, разглядывая пристально дома напротив, замирая в мечтах, с которыми не сравнится бред курильщика опиума. Вайолет Сеймур и Уильям Прай знали толк в несчастных случаях и умели извлекать из каждого события весь сок до последней капли.

Потом они посмотрели друг на друга. У Вайолет была коричневая родинка на шее, величиной с серебряные полдоллара. Уильям так и впился в нее глазами. У Прая были необыкновенно кривые ноги. Вайолет дала себе волю и смотрела на них, не отрывая взгляда. Они долго стояли лицом к лицу, глазея друг на друга. Этикет не позволял им заговорить, зато в Городе Зевак разрешается сколько угодно глядеть на деревья в парке и на физические недостатки ближних.

Наконец, они расстались со вздохом. Но пивным фургоном правил Купидон, и колесо, переехавшее чью-то ногу, соединило два любящих сердца.

Во второй раз герой и героиня встретились перед дощатым забором поблизости от Бродвея. День выдался крайне неудачный. Не было драк на улицах, дети не попадали под трамвай, калеки и толстяки в неглиже встречались очень редко; никто не выказывал склонности поскользнуться

на банановой корке или упасть в обморок. Не видно было даже чудака из Кокомо, штат Индиана, который выдает себя за родственника бывшего мэра Лоу и швыряет мелочь из окошечка кеба. Глядеть было не на что, и Уильям Прай уже начинал томиться от скуки.

И вдруг он увидел, что перед щитом для объявлений, усиленно толкаясь и пихаясь, стоит целая толпа. Бросившись туда опрометью, он сшиб с ног старуху и мальчишку с бутылкой молока и с нечеловеческой энергией проложил себе дорогу в центр круга. Вайолет Сеймур уже стояла в первом ряду без одного рукава и двух золотых пломб, с вывихнутой рукой и сломанной планшеткой корсета, не помня себя от счастья. Она смотрела на то, что было перед нею. Маляр выписывал на заборе: «Ешьте галеты, от них ваше лицо округлится».

Увидев Уильяма Прая, Вайолет покраснела. Уильям саданул под ребро даму в черном шелковом реглане, лягнул мальчишку, съездил по уху старого джентльмена и сумел протолкаться поближе к Вайолет. Они стояли рядом целый час, глядя, как маляр выписывает буквы. Потом Уиль-ям не смог дольше скрывать свои чувства. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдемте со мной, — сказал он. — Я знаю, где сидит чистильщик сапог без кадыка.

Она бросила на него застенчивый взгляд, но этот взгляд светился несомненной любовью, преобразившей ее лицо.

— И вы приберегли это для меня? — спросила она, вся объятая смутным трепетом первого объяснения и любви.

Они вместе побежали к ларьку чистильщика и простояли больше часа, глазея на юного урода.

На тротуар перед ними упал с пятого этажа мойщик окон. Когда подъехала «Скорая помощь», давая сигналы, Уильям радостно пожал руку Вайолет.

— Четыре ребра по меньшей мере и сложный перелом, — быстро шепнул он. — Ты не жалеешь, что встретила меня, дорогая?

— Я? — сказала Вайолет, отвечая на его пожатие. — Конечно, не жалею. Я могла бы целый день стоять и глазеть рядом с тобой.

Спустя несколько дней их роман достиг высшей точки. Быть может, читатель помнит, какое волнение переживал весь город, когда негритянке Элизе Джейн надо было вручить судебную повестку. Все племя зевак глазело, не сходя с места. Уильям Прай своими руками положил доску

на два пивных бочонка напротив того дома, где жила Элиза Джейн. Они с Вайолет просидели там три дня и три ночи. Потом одному сыщику пришло в голову, что можно открыть двери и вручить повестку. Он послал за кинетоскопом и так и сделал.

Две души с такими сродными стремлениями неминуемо должны были соединиться. Уильям Прай и Вайолет Сеймур обручились в тот же вечер, после того как полисмен прогнал их резиновой дубинкой. Семена любви пали на добрую почву, дружно взошли и расцвели пышным цветом.

Свадьба была назначена на десятое июня. Большая церковь была вся завалена цветами. Многочисленное племя зевак, рассеянное по всему свету, просто помешано на свадьбах. Это пессимисты на церковных скамьях. Они высмеивают жениха и издеваются над невестой. Они приходят потешаться над вашим браком, а если вам удается сбежать от Гименея на бледном коне смерти, они являются на похороны, садятся на ту же скамью и оплакивают ваше счастливое избавление. Любопытство — растяжимое понятие.

Церковь была ярко освещена. На асфальтовом тротуаре был разложен бархатный ковер, дохо-

дивший до самой мостовой. Подружки невесты расправляли друг другу ленты на поясе и перешептывались насчет невестиных веснушек. Кучера украшали свои кнуты белыми бантами и жалели, что время от выпивки до выпивки тянется так долго. Пастор размышлял о том, сколько ему заплатят, и соображал, хватит ли этих денег на новый костюм для него самого и на портрет Лауры Джейн Либби для его жены. Да, в воздухе реял Купидон.

И перед церковью, братья мои, волновались и колыхались тесные ряды племени зевак. Они стояли двумя сплошными массами, разделенные ковром и дубинками полицейских. Они толпились, как стадо, дрались, толкались, отступали и наступали и давили друг друга, чтобы увидеть, как девчонка в белой вуали приобретет законное право обыскивать карманы мужа, пока он спит.

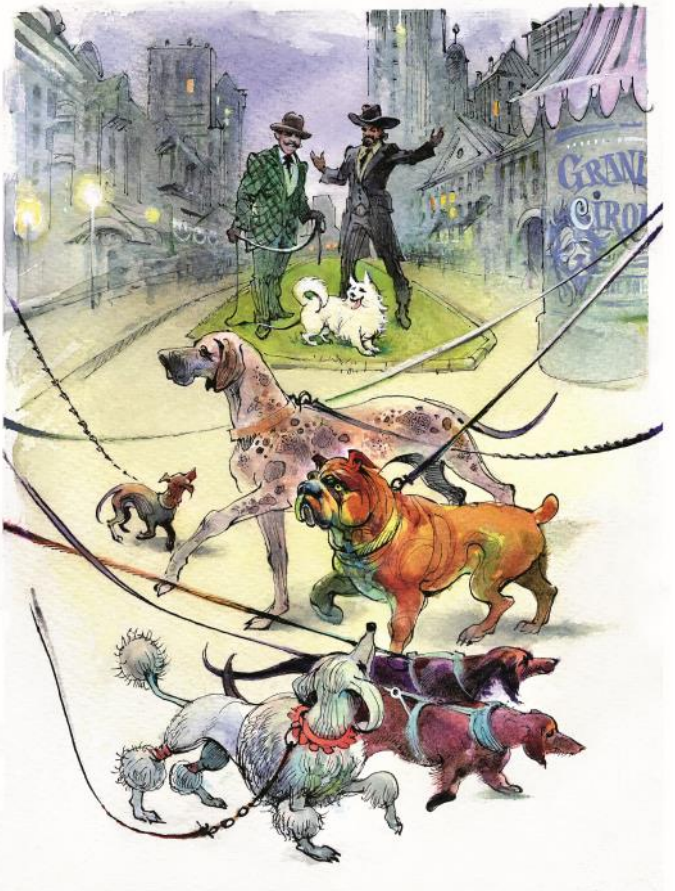
Однако час, назначенный для свадьбы, наступил и прошел, а жениха с невестой все не было. Нетерпение сменилось тревогой, тревога привела к поискам, но героев дня нигде не могли найти. Тут вмешались в дело два дюжих полисмена и вытащили из разъяренной толпы зевак помятого и полузадохшегося субъекта с обручальным кольцом в жилетном кармане и громко рыдаю-

щую растрепанную женщину, всю оборванную и в синяках.

Уильям Прай и Вайолет Сеймур, верные привычке, смешались с буйной толпой зрителей, не устояв перед обуревавшим их желанием видеть самих себя в роли жениха и невесты входящими в убранную розами церковь.

Любопытство — то же шило в мешке.

Улисс и собачник


GRAN
CIRQ

Известно ли вам, что существует час собачников? Когда четкие контуры Большого Города начинают расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает час, отведенный одному из самых печальных зрелищ городской жизни.

С вершин и утесов каменных громад Нью-Йорка сползают целые полчища обитателей городских пещер, бывших некогда людьми. Все они еще сохранили способность передвигаться на двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи, но вы сразу заметите, что в своем поступательном движении они плетутся в хвосте у животных. Каждое из этих существ шагает следом за собакой, будучи соединено с ней искусственной связью.

Перед нами жертвы Цирцеи. Не по своей охоте стали они няньками при Жужу и Бижу и мальчиками на побегушках у Аделек и Фиделек. Современная Цирцея не уподобила их целиком животным — она милостиво оставила между теми и другими известное расстояние, равное длине поводка. В иных случаях просто отдается приказ, в других — пускается в ход ласка или подкуп, но так или иначе каждый из собачников, послушный своей собственной Цирцее, ежеве-

черне выводит на прогулку бесценное домашнее сокровище.

Лица собачников и вся их повадка свидетельствуют о том, что они околдованы прочно и утратили надежду на спасение. Даже избавитель Улисс в лице человека с собачьим фургоном не явится к ним, чтобы разрушить чары.

У некоторых из собачников каменные лица. Этих уже не тронут ни любопытство, ни насмешки, ни сострадание их двуногих собратьев. Годы супружеского рабства и принудительного моциона в обществе собак сделали их нечувствительными ко всему. Они освобождают от пут ноги зазевавшегося прохожего и фонарные столбы с бесстрастием китайских мандаринов, потягивающих за веревочки запущенный в небо воздушный змей.

Другие, лишь недавно низведенные до положения собачьих поводырей, подчиняются своей участи с угрюмым ожесточением. Они дергают за поводок с тем чувством злорадства, какое бывает написано на лице девицы, когда она в воскресный денек вытаскивает из воды поймавшуюся на крючок рыбешку. На случайные взгляды прохожих они отвечают свирепыми взглядами, словно только ищут предлога, чтобы послать их

к свиньям собачьим. Это полупокоренные, не до конца оцирцеенные собачники, и, если подопечный пес одного из них начинает обнюхивать вам лодыжку, вы поступите благоразумно, не дав ему пинка.

Есть еще категория собачников, представители которой не принимают своего положения так близко к сердцу. Это преимущественно потасканные молодые люди в модных каскетках и с сигаретой, небрежно свисающей из угла рта. Между ними и вверенными их попечению животными не чувствуется прочной, гармоничной связи. На ошейнике у их собак обычно красуется шелковый бант, а сами молодые люди с таким усердием несут свою службу, что невольно возникает подозрение — не ждут ли они каких-то особых наград за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

Собаки, эскортируемые всеми вышеупомянутыми способами, принадлежат к различным породам, но все они, в сущности, одно и то же: жирные, избалованные, капризные твари, с оскаленными мордами, омерзительно гнусным характером и наглым поведением. Они упрямо и тупо тянут за поводок и застревают у каждого порога, у каждого забора и фонарного столба,

не спеша обследуя их с помощью своих органов обоняния. Они присаживаются отдохнуть, когда им только заблагорассудится. Они сопят и отдуваются, как победитель конкурса «Кто съест больше бифштексов». Они проваливаются во все незакрытые погреба и угольные ямы. Словом, устраивают своим поводырям веселую жизнь.

А эти несчастные слуги собачьего царства — эти дворецкие дворняжек, лакеи левреток, бонны болонок, гувернантки грифонов, поводыри пуделей, телохранители терьеров и таскатели такс, завороженные высокогорными Цирцеями, покорно плетутся за своими питомцами. Собачонки не питают к ним ни почтения, ни страха. Эти человеческие существа, которые тащатся за ними на поводке, могут быть хозяевами дома, но над ними они отнюдь не хозяева. С мягкого дивана — прямо к выходной двери, из уютного уголка — на пожарную лестницу гонит свирепое собачье рычание эти двуногие существа, обреченные следовать за четвероногими во время их прогулок.

Как-то в сумерки собачники, по обыкновению, вышли на улицу, подчинившись просьбе, подкупу или щелканью бича своих Цирцей. Один из них был человек могучего телосложения, чья внушительная внешность не вязалась с этим

малосолидным занятием. Уныние было написано на его лице, во всех движениях сквозила подавленность. Он был влеком за поводок отвратительно жирной, развращенной до мозга костей, зловредной белой собачонкой, ни в грош не ставившей своего поводыря.

На ближайшем углу собачник свернул в переулок, надеясь избавиться от свидетелей своего позора. Раскормленная тварь ковыляла впереди, сопя от пресыщенности жизнью и непомерных физических усилий.

Внезапно собака остановилась. Высоченный загорелый мужчина в длиннополом пиджаке и широкополой шляпе стоял на тротуаре, подобно колоссу, загораживая проход.

— Чтоб мне сдохнуть! — сказал мужчина.

— Джим Берри! — ахнул собачник, пустив в ход несколько восклицательных знаков.

— Сэм Тэлфер! — возопил длиннополо-широкополый. — Ах ты, старый бесхвостый битюг! Дай копыто!

Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном Запада рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы.

— Ах ты, чертова перечница! — продолжал широкополый, сияя улыбкой в паутине коричне-

вых морщин. — Пять лет ведь, как не видались. Я здесь уже целую неделю, да разве в этом городе найдешь кого! Ну как она, супружеская-то жизнь?

Что-то рыхлое, тяжелое, мягкое, как подошедшее на дрожжах тесто, шлепнулось Джиму на ступню и с рычаньем и чавканьем принялось жевать его штанину.

— Будь так добр, — сказал Джим, — объясни мне, зачем ты накинул свое лассо на это страдающее водобоязнью животное, похожее на бочку? Неужто ты держишь в своем загоне эту скотину? Как это у вас называется, кстати, собакой или еще как-нибудь?

— Я хочу выпить, — сказал собачник, в котором упоминание о водобоязни разбередило дурные наклонности. — Пойдем.

Кафе было рядом. В большом городе оно всегда где-нибудь по соседству.

Приятели сели за столик, а шарообразное, заплывшее жиром чудовище с визгливым лаем начало скрести когтями пол, стремясь добраться до хозяйской кошки.

— Виски, — сказал Джим официанту.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А тебя здесь здорово раскормили, — сказал

Джим. — И, кажется, основательно объездили. Не сказал бы я, что здешний воздух пошел тебе впрок. Когда я уезжал, все ребята наказывали разыскать тебя. Сэнди Кинг отправился на Клондайк. Уотсон Бэрли женился на старшей дочке старика Питерса. Я недурно заработал на скоте и купил изрядный кусок пустоши на Литл-Паудер. Осенью думаю обнести оградой. А Билл Роулин засел у себя на ферме. Ты помнишь Билла? Ну да, еще бы! Он же волочился за Марселлой… Прошу прощенья, я хотел сказать за той дамой, которая преподавала в школе на Прэри-Вью и выскочила за тебя замуж. Да, ты натянул нос Биллу. Как же поживает миссис Тэлфер?

— Ш-ш-ш! — зашикал собачник, знаком подзывая официанта. — Что ты выпьешь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Марселла в добром здоровье, — промолвил он, отхлебнув виски. — Не желает жить нигде, кроме Нью-Йорка, она ведь отсюда родом. Снимаем квартиру. Каждый вечер в шесть часов я вывожу этого пса гулять. Это любимчик Марселлы. Признаться тебе, Джим, никогда, с сотворения мира, не было на земле двух существ, которые бы так ненавидели друг друга, как я и это живот-

ное. Его зовут Пушок. Пока мы гуляем, Марселла переодевается к обеду. Мы едим за табльдотом. Тебе никогда не приходилось есть за табльдотом, Джим?

— Ни разу в жизни. Я видел объявления, но думал, что это какая-нибудь игра, вроде рулетки. А как за ним едят — стоя или сидя? Это удобнее, чем за столом?

— Сколько ты здесь пробудешь? Мы могли бы…

— Нет, дружище. В семь двадцать пять отправляюсь домой. Рад бы побыть еще, да не могу.

— Я провожу тебя до парома, — сказал собачник.

Собака впала в тяжелую дремоту, предварительно прикрутив ногу Джима к ножке его стула. Джим хотел встать, покачнулся, и слегка натянувшийся поводок обеспокоил собаку. Раздраженный визг потревоженного пса был слышен на весь квартал.

— Если это твоя собака, — сказал Джим, когда они вышли на улицу, — кто мешает тебе привязать ее к какому-нибудь дереву, использовав это ярмо, надетое ей на шею в нарушение закона о неприкосновенности личности, уйти и забыть, где ты ее покинул?

— У меня никогда не хватит на это духу, — сказал собачник, явно испуганный таким смелым предложением. — Он спит на кровати. Я сплю на кушетке. Стоит мне взглянуть на него, как он бежит жаловаться Марселле. Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

— Что с тобой, Сэм Тэлфер? Ты сам на себя не похож. Я, конечно, не знаю этой вашей городской квартирной жизни... Но вот в Прэри-Вью я собственными глазами видел, как ты одним медным краном от бочки с патокой обратил в бегство обоих тиллотсоновских ребят. И разве не ты накидывал лассо на самого свирепого быка в Литл-Паудер и вязал его тридцать девять с половиной секунд по часам?

— А ведь и правда, а? — воскликнул Сэм Тэлфер, и что-то вспыхнуло на мгновение в его взгляде. — Да, это все было, пока меня еще не присобачили к этой собаке.

— А что миссис Тэлфер?.. — начал было Джим.

— Молчи, — сказал собачник. — Вот еще кафе. Зайдем?

Они стали у стойки. Собака брякнулась на пол у их ног и задремала.

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А я ведь думал о тебе, когда покупал эту пустошь, — сказал Джим. — Жалел, что нет тебя, чтобы помочь мне управиться со скотом.

— Во вторник, — сказал собачник, — он вцепился мне в лодыжку за то, что я попросил сливок к кофе. Сливки всегда достаются ему.

— А тебе бы сейчас понравилось у нас в Прэри-Вью, — сказал Джим. — Ребята съезжаются к нам с самых отдаленных ранчо, за полсотни миль. А мой выгон начинается в шестнадцати милях от города. Одну сторону обнести оградой, так и то пойдет миль сорок проволоки, не меньше.

— В спальню стараешься попасть через кухню, — продолжал собачник, — а в ванную комнату крадешься через гостиную, а оттуда норовишь проскользнуть назад в спальню через столовую, чтобы можно было отступить и спастись через кухню. И даже во сне он все время лает и рычит, а курить меня прогоняют в сквер, потому что у него астма.

— А разве миссис Тэлфер… — начал Джим.

— Ах, да замолчи ты! — сказал собачник. — Ну,

что теперь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Что ж, мне, пожалуй, пора пробираться на пристань, — заметил Джим.

— Ну, ты, кривоногая, вислозадая, толстопузая черепаха! Шевелись, что ли, пока тебя не перетопили на мыло! — заорал вдруг собачник с какой-то новой ноткой в голосе, и рука его по-новому ухватила поводок. Собака заковыляла за ним следом, злобно рыча в ответ на неслыханные речи своего телохранителя.

В конце Двадцать третьей улицы собачник толкнул ногой вращающуюся дверь.

— Ну, разгонную! — сказал он. — Ты что выпьешь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Не знаю, где мне найти человека, которому я мог бы доверить мой скот на Литл-Паудер, — сказал владелец ранчо. — Тут нужен свой парень. Славный кусочек прерий, и роща там у меня, Сэм. Вот если бы ты…

— Кстати, насчет водобоязни, — сказал собачник. — Эта бешеная зверюга вырвала мне вчера кусок мяса из ноги за то, что я согнал муху с

руки Марселлы. «Необходимо сделать прижигание», — сказала Марселла, и я был целиком с ней согласен. Вызвали по телефону врача. А когда он пришел, Марселла и говорит: «Помоги мне подержать бедную крошку, чтобы доктор продезинфицировал ему ротик. Надеюсь, он не успел наглотаться микробов, пока кусал тебя за ногу!» Ну, что ты скажешь?

— А что миссис Тэлфер… — начал Джим.

— Ах, брось ты это, — сказал собачник. — Выпьем?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

Они направились на пристань. Скотовод шагнул к билетной кассе.

Внезапно душераздирающий собачий визг сотряс воздух. За первым увесистым пинком быстро последовал второй и третий, и кривоногий студень, отдаленно напоминающий собаку, сломя голову припустился без провожатого по улице, всем своим видом выражая крайнее возмущение.

— Билет до Денвера, — сказал Джим.

— Давайте два! — закричал собачник и полез в карман за деньгами.

В антракте

Майская луна ярко освещала частный пансион миссис Мэрфи. Загляните в календарь, и вы узнаете, какой величины площадь освещали в тот вечер ее лучи. Лихорадка весны была в полном разгаре, а за ней должна была последовать сенная лихорадка. В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов. Расцветали цветы, и процветали курортные агенты; воздух и судебные приговоры становились мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картежники.

Окна пансиона миссис Мэрфи были открыты. Кучка жильцов сидела на высоком крыльце, на круглых и плоских матах, похожих на блинчики. У одного из окон второго этажа миссис Мак-Каски поджидала мужа. Ужин стыл на столе. Жар из него перешел в миссис Мак-Каски.

Мак-Каски явился в девять. На руке у него было пальто, в зубах — трубка. Он попросил извинения за беспокойство, проходя между жильцами и осторожно выбирая место, куда поставить ногу в ботинке невероятных размеров.

Открыв дверь в комнату, он был приятно изумлен: вместо конфорки от печки или машинки для картофельного пюре в него полетели только слова.

Мистер Мак-Каски решил, что благосклонная майская луна смягчила сердце его супруги.

— Слышала я тебя, — долетели до него суррогаты кухонной посуды. — Перед всякой дрянью ты извиняешься, что наступил ей на хвост своими ножищами, а жене ты на шею наступишь и не почешешься, а я-то жду его не дождусь, все глаза проглядела, и ужин остыл, купила какой-никакой на последние деньги, ты ведь всю получку пропиваешь по субботам у Галлегера, а нынче уж два раза приходили за деньгами от газовой компании.

— Женщина, — сказал мистер Мак-Каски, бросая пальто и шляпу на стул, — этот шум портит мне аппетит. Не относись презрительно к вежливости, этим ты разрушаешь цемент, скрепляющий кирпичи в фундаменте общества. Если дамы загораживают дорогу, то мужчина просто обязан спросить разрешения пройти между ними. Будет тебе выставлять свое свиное рыло в окно, подавай на стол.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с ме-

ста и пошла к печке. По некоторым признакам Мак-Каски сообразил, что добра ждать нечего. Когда уголки ее губ опускались вниз наподобие барометра, это предвещало град — фаянсовый, эмалированный и чугунный.

— Ах вот как, свиное рыло? — возразила миссис Мак-Каски и швырнула в своего повелителя полную кастрюльку тушеной репы.

Мак-Каски не был новичком в такого рода дуэтах. Он знал, что должно следовать за вступлением. На столе лежал кусок жареной свинины, украшенный трилистником. Этим он и ответил, получив отпор в виде хлебного пудинга в глиняной миске. Кусок швейцарского сыра, метко пущенный мужем, подбил глаз миссис Мак-Каски. Она нацелилась в мужа кофейником, полным горячей, черной, не лишенной аромата жидкости; этим заканчивалось меню, а следовательно, и битва.

Но Мак-Каски был не какой-нибудь завсегдатай грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе. Это дело нехитрое. Он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мэрфи их не полагалось, но эквивалент был под руками. Он торжествующе швырнул

умывальную чашку в голову своей супруги-противницы. Миссис Мак-Каски увернулась вовремя. Она схватила утюг, надеясь с его помощью успешно закончить эту гастрономическую дуэль. Но громкий вопль внизу остановил ее и мистера Мак-Каски и заставил их заключить перемирие.

На тротуаре перед домом стоял полисмен Клири и, насторожив ухо, прислушивался к грохоту разбиваемой вдребезги домашней утвари.

«Опять это Джон Мак-Каски со своей хозяйкой, — размышлял полисмен. — Пойти, что ли, разнять их. Нет, не пойду. Люди они семейные, развлечений у них мало. Да небось скоро и кончат. Не занимать же для этого тарелки у соседей».

И как раз в эту минуту в нижнем этаже раздался пронзительный вопль, выражающий испуг или безысходное горе.

— Кошка, должно быть, — сказал полисмен Клири и быстро зашагал прочь.

Жильцы, сидевшие на ступеньках, переполошились. Мистер Туми, страховой агент по происхождению и аналитик по профессии, вошел в дом, чтобы исследовать причины вопля. Он возвратился с известием, что мальчик миссис Мэрфи, Майк, пропал неизвестно куда. Вслед за

вестником выскочила сама миссис Мэрфи — двухсотфунтовая дама, в слезах и истерике, хватая воздух и вопия к небесам об утрате тридцати фунтов веснушек и проказ. Вульгарное зрелище, конечно, но мистер Туми сел рядом с модисткой мисс Пурди, и руки их сочувственно встретились. Сестры Уолш, старые девы, вечно жаловавшиеся на шум в коридорах, тут же спросили: не спрятался ли мальчик за стоячими часами?

Майор Григ, сидевший на верхней ступеньке рядом со своей толстой женой, встал и застегнул сюртук.

— Мальчик пропал? — воскликнул он. — Я обыщу весь город.

Его жена обычно не позволяла ему выходить из дому по вечерам. Но тут она сказала баритоном:

— Ступай, Людовик! Кто может смотреть равнодушно на горе матери и не бежит к ней на помощь, у того каменное сердце.

— Дай мне центов тридцать или, лучше, шестьдесят, милочка, — сказал майор. — Заблудившиеся дети иногда уходят очень далеко. Может, мне понадобится на трамвай.

Старик Денни, жилец с четвертого этажа, который сидел на самой нижней ступеньке и читал газету при свете уличного фонаря, перевернул

страницу, дочитывая статью о забастовке плотников. Миссис Мэрфи вопила, обращаясь к луне:

— О-о, где мой Майк, ради Господа Бога, где мой сыночек?

— Когда вы его видели последний раз? — спросил старик Денни, косясь одним глазом на заметку о союзе строителей.

— Ох, — стонала миссис Мэрфи, — может, вчера, а может, четыре часа тому назад. Не припомню. Только пропал он, пропал мой сыночек Майк. Нынче утром играл на тротуаре, а может, это было в среду? Столько дел, где ж мне припомнить, когда это было? Я весь дом обыскала, от чердака до погреба, нет как нет, пропал да и только. О, ради Господа Бога…

Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди; они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо. Возможно, какое-нибудь другое сравнение было бы здесь более уместно. И все-таки обижаться не стоит. Мы не стали бы называть омаром того, у кого нет хороших, больших клешней.

Ни одно горе не трогает неискушенное человеческое сердце сильнее, чем пропажа ребенка. Детские ножки такие слабенькие, неуверенные, а дороги такие трудные и крутые.

Майор Григ юркнул за угол и, пройдя несколько шагов по улице, зашел в заведение Билли.

— Налейте-ка мне стопку, — сказал он официанту. — Не видели вы такого кривоногого, чумазого дьяволенка лет шести, он где-то тут заблудился?

На крыльце мистер Туми все еще держал руку мисс Пурди.

— Подумать только об этом милом-милом крошке! — говорила мисс Пурди. — Он заблудился, один, без своей мамочки, может быть, уже попал под звонкие копыта скачущих коней, ах, какой ужас!

— Да, не правда ли? — согласился мистер Туми, пожимая ей руку. — Может, мне пойти поискать его?

— Это, конечно, ваш долг, — отвечала мисс Пурди. — Но боже мой, мистер Туми, вы такой смелый, такой безрассудный, вдруг с вами что-нибудь случится, тогда как же…

Старик Денни читал о заключении арбитражной комиссии, водя пальцем по строчкам.

На втором этаже мистер и миссис Мак-Каски

подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Мак-Каски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз, заслезившийся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули головы в окно.

— Маленький Майк пропал, — сказала миссис Мак-Каски, понизив голос, — такой шалун, настоящий ангелочек!

— Мальчишка куда-то девался? — сказал Мак-Каски, высовываясь в окно. — Экое несчастье, прямо беда. Дети — другое дело. Вот если б баба пропала, я бы слова не сказал, без них куда спокойней.

Не обращая внимания на эту шпильку, миссис Мак-Каски схватила мужа за плечо.

— Джон, — сказала она сентиментально, — пропал сыночек миссис Мэрфи. Город такой большой, долго ли маленькому мальчику заблудиться! Шесть годочков ему было, Джон, и нашему сынку было бы столько же, кабы он родился шесть лет тому назад.

— Да ведь он не родился, — возразил мистер Мак-Каски, строго придерживаясь фактов.

— А если б родился, какое бы у нас было горе нынче вечером, ты подумай: наш маленький Филан неизвестно где, может, заблудился, может,

украли.

— Глупости несешь, — ответил Мак-Каски. — Назвали бы его Пат, в честь моего старика в Кэнтриме.

— Врешь! — без гнева сказала миссис Мак-Каски. — Мой брат стоил сотни таких, как твои вшивые Мак-Каски. В честь него мы и назвали бы мальчика. — Облокотившись на подоконник, она посмотрела вниз, на толкотню и суматоху. — Джон, — сказала миссис Мак-Каски нежно, — прости, я погорячилась.

— Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно, а репа еще горячей, а кофе так прямо кипяток. Можно сказать, горячий ужин, правда твоя.

Миссис Мак-Каски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь.

— Ты послушай, как убивается бедная миссис Мэрфи, — сказала она. — Ведь это просто ужас, такому крошке заблудиться в таком большом городе. Если б это был наш маленький Филан, у меня бы сердце разорвалось.

Мистер Мак-Каски неловко отнял свою руку, но тут же обнял жену за плечи.

— Глупость, конечно, — сказал он грубовато, — но я бы и сам убивался, если б нашего… Пата

украли или еще что-нибудь с ним случилось. Только у нас никогда детей не было. Я с тобой бываю груб, неласков, Джуди. Ты уж не попомни зла.

Они сели рядом и стали вместе смотреть на драму, которая разыгрывалась внизу.

Долго они сидели так. Люди толпились на тротуаре, толкаясь, задавая вопросы, оглашая улицу говором, слухами и неосновательными предположениями. Миссис Мэрфи то исчезала, то появлялась, прокладывая себе путь в толпе, как большая, рыхлая гора, орошаемая звучным каскадом слез. Курьеры прибегали и убегали.

Вдруг гул голосов, шум и гам на тротуаре перед пансионом стали громче.

— Что там такое, Джуди? — спросил мистер Мак-Каски.

— Это голос миссис Мэрфи, — сказала жена, прислушавшись. — Говорит, нашла Майка под кроватью у себя в комнате, он спал за свертком линолеума.

Мистер Мак-Каски расхохотался.

— Вот тебе твой Филан! — насмешливо воскликнул он. — Пат такой штуки ни за что не отколол бы. Если бы мальчишку, которого у нас нет, украли бы или он пропал бы неизвестно

куда, черт с ним, пускай назывался бы Филан да валялся бы под кроватью, как паршивый щенок.

Миссис Мак-Каски тяжело поднялась с места и пошла к буфету — уголки рта у нее были опущены.

Полисмен Клири появился из-за угла, как только толпа рассеялась. В изумлении, насторожив ухо, он повернулся к окнам квартиры Мак-Каски, откуда громче прежнего слышался грохот тарелок и кастрюль и звон швыряемой в кого-то кухонной утвари. Полисмен Клири вынул часы.

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул он. — Джон Мак-Каски с женой дерутся вот уже час с четвертью по моему хронометру. Хозяйка-то потяжелей его фунтов на сорок. Дай Бог ему удачи.

Полисмен Клири опять повернул за угол. Старик Денни сложил газету и скорей заковылял вверх по ступенькам крыльца — как раз вовремя, потому что миссис Мэрфи уже запирала двери на ночь.

Золото и любовь

Старик Энтони Рокволл, удалившийся от дел фабрикант и владелец патента на мыло «Эврика», выглянул из окна библиотеки в своем особняке на Пятой авеню и ухмыльнулся. Его сосед справа, аристократ и клубмен Дж. ван Шуйлайт Саффолк-Джонс, садился в ожидавшую его машину, презрительно воротя нос от мыльного палаццо, фасад которого украшала скульптура в стиле итальянского Возрождения.

— Ведь просто старое чучело банкрота, а сколько спеси! — заметил бывший мыльный король. — Берег бы лучше свое здоровье, замороженный Нессельроде, а не то скоро попадет в Эдемский музей. Вот на будущее лето размалюю весь фасад красными, белыми и синими полосами — погляжу тогда, как он сморщит свой голландский нос.

И тут Энтони Рокволл, всю жизнь не одобрявший звонков, подошел к дверям библиотеки и заорал: «Майк!» тем самым голосом, от которого когда-то чуть не лопалось небо над канзасскими прериями.

— Скажите моему сыну, чтоб он зашел ко мне

перед уходом из дому, — приказал он явившемуся на зов слуге.

Когда молодой Рокволл вошел в библиотеку, старик отложил газету и, взглянув на него с выражением добродушной суровости на полном и румяном без морщин лице, одной рукой взъерошил свою седую гриву, а другой загремел ключами в кармане.

— Ричард, почем ты платишь за мыло, которым моешься? — спросил Энтони Рокволл.

Ричард, всего полгода назад вернувшийся домой из колледжа, слегка удивился. Он еще не вполне постиг своего папашу, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, словно девица на своем первом балу.

— Кажется, шесть долларов за дюжину, папа.

— А за костюм?

— Обыкновенно долларов шестьдесят.

— Ты джентльмен, — решительно изрек Энтони. — Мне говорили, будто бы молодые аристократы швыряют по двадцать четыре доллара за мыло и больше чем по сотне за костюм. У тебя денег не меньше, чем у любого из них, а ты все-таки держишься того, что умеренно и скромно. Сам я моюсь старой «Эврикой» — не только по привычке, но и потому, что это мыло лучше других. Если

ты платишь больше десяти центов за кусок мыла, то лишнее с тебя берут за плохие духи и обертку. А пятьдесят центов вполне прилично для молодого человека твоих лет, твоего положения и состояния. Повторяю, ты — джентльмен. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Это раньше так было. А теперь с деньгами оно получается куда легче и скорей. Деньги тебя сделали джентльменом. Да я и сам почти джентльмен, ей-богу! Я ничем не хуже моих соседей — так же вежлив, приятен и любезен, как эти два спесивых голландца справа и слева, которые не могут спать по ночам из-за того, что я купил участок между ними.

— Есть вещи, которых не купишь за деньги, — довольно мрачно заметил молодой Рокволл.

— Нет, ты этого не говори, — возразил обиженный Энтони. — Я всегда стою за деньги. Я прочел всю энциклопедию насквозь: все искал чего-нибудь такого, чего нельзя купить за деньги; так на той неделе придется, должно быть, взяться за дополнительные тома. Я за деньги против всего прочего. Ну, скажи мне, чего нельзя купить за деньги?

— Прежде всего, они не могут ввести вас в высший свет, — ответил уязвленный Ричард.

— Ого! Неужто не могут? — прогремел защитник корней зла. — Ты лучше скажи, где был бы весь твой высший свет, если бы у первого из Асторов не хватило денег на проезд в третьем классе?

Ричард вздохнул.

— Я вот к чему это говорю, — продолжал старик уже более мягко. — Потому я и попросил тебя зайти. Что-то с тобой неладно, мой мальчик. Вот уже две недели, как я это замечаю. Ну, выкладывай начистоту. Я в двадцать четыре часа могу реализовать одиннадцать миллионов наличными, не считая недвижимости. Если у тебя печень не в порядке, так «Бродяга» стоит под парами у пристани и в два дня доставит тебя на Багамские острова.

— Почти угадали, папа. Это очень близко к истине.

— Ага, так как же ее зовут? — проницательно заметил Энтони.

Ричард начал прохаживаться взад и вперед по библиотеке. Неотесанный старик отец проявил достаточно внимания и сочувствия, чтобы вызвать доверие сына.

— Почему ты не делаешь предложения? — спросил старик Энтони. — Она будет рада-радехонька. У тебя и деньги, и красивая наружность, ты слав-

ный малый. Руки у тебя чистые, они не запачканы мылом «Эврика». Правда, ты учился в колледже, но на это она не посмотрит.

— Все случая не было, — вздохнул Ричард.

— Устрой так, чтоб был, — сказал Энтони. — Ступай с ней на прогулку в парк или повези на пикник, а не то проводи ее домой из церкви. Случай! Тьфу!

— Вы не знаете, что такое свет, папа. Она из тех, которые вертят колесо светской мельницы. Каждый час, каждая минута ее времени распределены на много дней вперед. Я не могу жить без этой девушки, папа: без нее этот город ничем не лучше гнилого болота. А написать ей я не могу — просто не в состоянии.

— Ну, вот еще! — сказал старик. — Неужели при тех средствах, которые я тебе даю, ты не можешь добиться, чтобы девушка уделила тебе час-другой времени?

— Я слишком долго откладывал. Послезавтра в полдень она уезжает в Европу и пробудет там два года. Я увижусь с ней завтра вечером на несколько минут. Сейчас она гостит в Ларчмонте у своей тетки. Туда я поехать не могу. — Но мне разрешено встретить ее завтра вечером на Центральном вокзале, к поезду восемь тридцать. Мы проедем

галопом по Бродвею до театра Уоллока, где ее мать и остальная компания будут ожидать нас в вестибюле. Неужели вы думаете, что она станет выслушивать мое признание в эти шесть минут? Нет, конечно. А какая возможность объясниться в театре или после спектакля? Никакой! Нет, папа, это не так просто, ваши деньги тут не помогут. Ни одной минуты времени нельзя купить за наличные; если б было можно, богачи жили бы дольше других. Нет никакой надежды поговорить с мисс Лэнтри до ее отъезда.

— Ладно, Ричард, мой мальчик, — весело отвечал Энтони. — Ступай теперь в свой клуб. Я очень рад, что это у тебя не печень. Не забывай только время от времени воскурять фимиам на алтаре великого бога Маммона. Ты говоришь, деньги не могут купить времени? Ну, разумеется, нельзя заказать, чтобы вечность завернули тебе в бумажку и доставили на дом за такую-то цену, но я сам видел, какие мозоли на пятках натер себе старик Хронос, гуляя по золотым приискам.

В этот вечер к братцу Энтони, читавшему вечернюю газету, зашла тетя Эллен, кроткая, сентиментальная, старенькая, словно пришибленная богатством, и, вздыхая, завела речь о страданиях влюбленных.

— Все это я от него уже слышал, — зевая, ответил братец Энтони. — Я ему сказал, что мой текущий счет к его услугам. Тогда он начал отрицать пользу денег. Говорит, будто бы деньги ему не помогут. Будто бы светский этикет не спихнуть с места даже целой упряжке миллионеров.

— Ах, Энтони, — вздохнула тетя Эллен. — Напрасно ты придаешь такое значение деньгам. Богатство ничего не значит там, где речь идет об истинной любви. Любовь всесильна. Если б он только объяснился раньше! Она бы не смогла отказать нашему Ричарду. А теперь, я боюсь, уже поздно. У него не будет случая поговорить с ней. Все твое золото не может дать счастья нашему мальчику.

На следующий вечер ровно в восемь часов тетя Эллен достала старинное золотое кольцо из футляра, побитого молью, и вручила его племяннику.

— Надень его сегодня, Ричард, — попросила она. — Твоя мать подарила мне это кольцо и сказала, что оно приносит счастье в любви. Она велела передать его тебе, когда ты найдешь свою суженую.

Молодой Рокволл принял кольцо с благоговением и попробовал надеть его на мизинец. Оно

дошло до второго сустава и застряло там. Ричард снял его и засунул в жилетный карман, по свойственной мужчинам привычке. А потом вызвал по телефону кэб[9].

В восемь часов тридцать две минуты он выловил мисс Лэнтри из говорливой толпы на вокзале.

— Нам нельзя задерживать маму и остальных, — сказал она.

— К театру Уоллока, как можно скорей! — честно передал кэбмену Ричард.

С Сорок второй улицы они влетели на Бродвей и помчались по звездному пути, ведущему от мягких лугов Запада к скалистым утесам Востока.

Не доезжая Тридцать четвертой улицы Ричард быстро поднял окошечко и приказал кэбмену остановиться.

— Я уронил кольцо, — сказал он в извинение. — Оно принадлежало моей матери, и мне было бы жаль его потерять. Я не задержу вас, — я видел, куда оно упало.

Не прошло и минуты, как он вернулся с кольцом.

Но за эту минуту перед самым кэбом остановил-

---

[9] Примечания: 8

Кэб — извозчий одноконный экипаж (*прим. ред.*).

ся поперек дороги вагон трамвая. Кэбмен хотел объехать его слева, но тяжелый почтовый фургон загородил ему путь. Он попробовал свернуть вправо, но ему пришлось попятиться назад от подводы с мебелью, которой тут было вовсе не место. Он хотел было повернуть назад — и только выругался, выпустив из рук вожжи. Со всех сторон его окружала невообразимая путаница экипажей и лошадей.

Создалась одна из тех уличных пробок, которые иногда совершенно неожиданно останавливают все движение в этом огромном городе.

— Почему вы не двигаетесь с места? — сердито спросила мисс Лэнтри. — Мы опоздаем.

Ричард встал в кэбе и оглянулся по сторонам. Застывший поток фургонов, подвод, кэбов, автобусов и трамваев заполнял обширное пространство в том месте, где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей, заполнял так тесно, как девушка с талией в двадцать шесть дюймов заполняет двадцатидвухдюймовый пояс. И по всем этим улицам к месту их пересечения с грохотом катились еще экипажи, на полном ходу врезываясь в эту путаницу, цепляясь колесами и усиливая общий шум громкой бранью кучеров. Все движение Манхэт-

тена будто застопорилось вокруг их экипажа. Ни один из нью-йоркских старожилов, стоявших в тысячной толпе на тротуарах, не мог припомнить уличного затора таких размеров.

— Простите, но мы, кажется, застряли, — сказал Ричард, усевшись на место. — Такая пробка и за час не рассосется. И виноват я. Если бы я не выронил кольца…

— Покажите мне ваше кольцо, — сказала мисс Лэнтри. — Теперь уже ничего не поделаешь, так что мне все равно. Да и вообще театр это, по-моему, такая скука.

В одиннадцать часов вечера кто-то легонько постучался в дверь Энтони Рокволла.

— Войдите! — крикнул Энтони, который читал книжку о приключениях пиратов, облачившись в красный бархатный халат.

Это была тетя Эллен, похожая на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле.

— Они обручились, Энтони, — кротко сказала тетя. — Она дала слово нашему Ричарду. По дороге в театр они попали в уличную пробку и целых два часа не могли двинуться с места.

И знаешь ли, братец Энтони, никогда больше не хвастайся силой твоих денег. Маленькая эмблема истинной любви, колечко, знаменующее

собой бесконечную и бескорыстную преданность, помогло нашему Ричарду завоевать свое счастье. Он уронил кольцо на улице и вышел из кэба, чтобы поднять его. Но не успели они тронуться дальше, как создалась пробка. И вот, пока кэб стоял, Ричард объяснился в любви и добился ее согласия. Деньги просто мусор по сравнению с истинной любовью, Энтони.

— Ну ладно, — ответил старик. — Я очень рад, что наш мальчик добился своего. Говорил же я ему, что никаких денег не пожалею на это дело, если…

— Но чем же тут могли помочь твои деньги, братец Энтони?

— Сестра, — сказал Энтони Рокволл. — У меня пират попал черт знает в какую переделку. Корабль у него только что получил пробоину, а сам он слишком хорошо знает цену деньгам, чтобы дать ему затонуть. Дай ты мне ради Бога дочитать главу.

На этом рассказ должен бы кончиться. Автор стремится к концу всей душой, так же как стремится к нему читатель. Но нам надо еще спуститься на дно колодца за истиной.

На следующий день субъект с красными руками и в синем горошчатом галстуке, назвавшийся

Келли, явился на дом к Энтони Рокволлу и был немедленно допущен в библиотеку.

— Ну что же, — сказал Энтони, доставая чековую книжку, — неплохо сварили мыло. Посмотрим, — вам было выдано пять тысяч?

— Я приплатил триста долларов своих, — сказал Келли. — Пришлось немножко превысить смету. Фургоны и кэбы я нанимал по пяти долларов; подводы и двуконные упряжки запрашивали по десяти. Шоферы требовали не меньше десяти долларов, а фургоны с грузом и все двадцать. Всего дороже обошлись полицейские — двоим я заплатил по полсотне, а прочим по двадцать и по двадцать пять. А ведь здорово получилось, мистер Рокволл? Я очень рад, что Уильям А. Брэди не видел этой небольшой массовой сценки на колесах; я ему зла не желаю, а беднягу, верно, хватил бы удар от зависти. И ведь без единой репетиции! Ребята были на месте секунда в секунду. И целых два часа ниже памятника Грили даже пальца негде было просунуть.

— Вот вам тысяча триста, Келли, — сказал Энтони, отрывая чек. — Ваша тысяча да те триста, что вы потратили из своих. Вы ведь не презираете денег, Келли?

— Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто

выдумал бедность.

Келли был уже в дверях, когда Энтони окликнул его.

— Вы не заметили там где-нибудь в толпе этакого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? — спросил он.

— Что-то не видал, — ответил озадаченный Келли. — Если он был такой, как вы говорите, так, верно, полиция забрала его еще до меня.

— Я так и думал, что этого озорника на месте не окажется, — ухмыльнулся Энтони. — Всего наилучшего, Келли!